

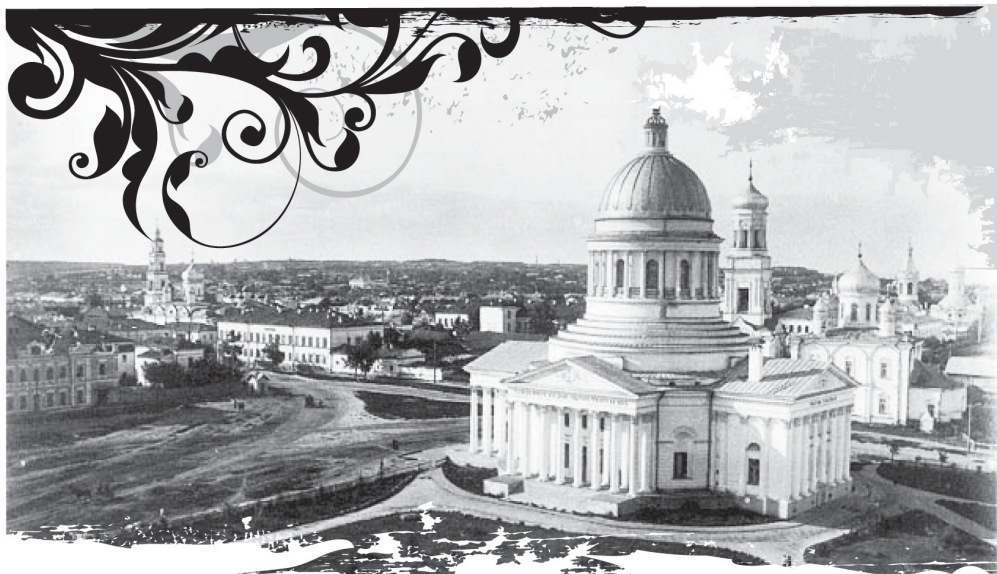


СИМБИРСКЪ

№5 (59)
МАЙ
2018



Литературный журнал
«СИМБИРСКЪ»



Содержание

Главный редактор
Елена Викторовна Водкина
(Кувшинникова)
E-mail: karamz_sad@mail.ru
Телефон 89603693212



Редакционный совет:

Председатель – Владимир Лучников
Владимир Артамонов
Александра Белова
Ольга Даранова
Александр Лайков
Виктор Малахов
Светлана Матлина
Николай Марянин
Ольга Шейпак
Юрий Шерстнев
Татьяна Эйхман



Издание осуществлено при поддержке
губернатора Ульяновской области
Сергея Ивановича Морозова

Издатель: Областное государственное автономное
учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда».
Адрес издателя, адрес редакции:
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

Подписано в печать 22.05.2018 г.
Дата выхода 30.05.2018 г.
Тираж 700 экз. Заказ №121.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО «Сити Принт», 610040, г. Киров,
ул. Мостовая, 32/16, т. (8332) 228-297,
сайт: www.printtown.ru

© Литературный журнал «СИБИРСКИЙ» №5 (59), 2018

Издание зарегистрировано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Ульяновской области
ПИ №ТУ 73-00350 от 21 марта 2014 г.
Учредитель: Областное государственное автономное
учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда».

© Дизайн, компьютерная верстка – Ольга Тюльпа.
Корректор – Ксения Нечаева.

На обложке: Картина Станислава Слесарского «Андрей Блажен-
ный Симбирский».
На обороте обложки: Станислав Слесарский «Весенняя тишина».

«Выйти в путь с зоркой душой»	3
Литературное наследие	
«Вперед, к классике!». Подготовила Ирина Маршалова.....	4-10
С любовью ко всему родному	
Татьяна Алисевич. Литературный бал героев Гончарова	11-12
Станислав Минаков. Дневники Свиридова – русское трудное чтение	13-16
Страна поэзия	
Лев Нецветаев. Чистый тон. Стихи.....	17-21
Надежда Смирнова. «Божий сад – мое окно». Стихи. Предисловие Евгении Извариной.....	22-27
Река воспоминаний	
Ольга Даранова. Настина стёжка	28-33
«Что хранит память...»	33-34
Книжная полка	
Ольга Даранова. «И вся земля была его наследством». (О Б. Пастернаке)	35-44
Станислав Слесарский. Овладесть мастерством... (Разговор с художником)	45-48
Картины Станислава Слесарского.....	49-56
Соло	
Возвращенные имена. Игорь Григорьев. Стихи	57-60
Дорога к храму	
Валентин Курбатов. Наше небесное Отечество. Страницы книги	61-82
Родом из детства	
Нинель Добрянская. Голубчики мои миленькие. Рассказ-воспоминание.....	83-88
Татьяна Лотоцкая. Стихи	88
Память сердца	
Маргарита Смирнова. Вспомним об уникальном человеке. (Памяти Ирины Павловой)	89-91
Юбилейный календарь	92-96

Внимание! Теперь читать любимые издания стало возможным с монитора компьютера, экрана телефона и планшета! С марта 2017 года можно оформить не только почтовую, но и электронную подписку на газеты «Ульяновская правда», «Народная газета», «Чемпион» и журналы «Мономах», «Симбирск», «Сибирь». Подробности, цены и пошаговая инструкция на информационном портале ulpravda.ru. Электронная подписка – оперативно, современно, выгодно!

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

можно тремя способами:

1) Подпишитесь на почте

и журнал принесут вам домой:

– цена на 6 мес. – 528,00 руб., индекс издания 54516
– цена на 12 мес. – 1057,00 руб., индекс издания 54526

2) Подпишитесь в редакции и заберите журнал сами

по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11;
пр. Ленинского Комсомола, 41, ком. 204 (Новый город).
(цена на 6 мес. – 348,00 руб).

г. Димитровград, ул. Юнг Северного флота, 107
(тел. 884(235) 3-26-49)

3) Подпишитесь через ООО «Урал-Пресс Поволжье»
(тел. 41-01-41)

Журнал «Симбирск» можно приобрести

в киосках «Симбирская печать»
и в отделе распространения по адресу:

ул. Пушкинская, 11.

По всем вопросам подписки

на журнал (в том числе альтернативной) можно
проконсультироваться по телефону

41-04-32

Рукописи принимаются только в электронном виде, не рецензируются и не возвращаются.

Авторы несут ответственность за достоверность представленных материалов.

Мнения автора и редакции могут не совпадать.

При перепечатке ссылка на «Симбирск» обязательна.



ВЫЙТИ В ПУТЬ С ЗОРКОЙ ДУШОЙ...

Новый выпуск журнала открывает рубрика «Литературное наследие». В преддверии традиционного июньского Гончаровского праздника мы публикуем материалы, связанные с именем писателя-классика. Ирина Маршалова подготовила публикацию, где лауреаты Гончаровской премии разных лет отвечают на вопросы сотрудников музея Гончарова. Скоро станут известны имена новых лауреатов. Об этом мы расскажем в ближайшем номере. Недавно в историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова в очередной раз состоялся «Литературный бал героев Гончарова». Организатор этого фестиваля, объединившего юных участников – Центральная городская специализированная библиотека им. И.А. Гончарова.

Тему «Классики и современники» продолжает очерк известного поэта и публициста Станислава Минакова, посвященный выходу в свет второго издания книги Георгия Свиридова «Музыка и судьба». Эта книга – «свод глубоких и страстных размышлений выдающегося музыканта о духовной жизни эпохи».

В рубрике «Страна поэзия» читайте стихи ульяновского художника и поэта Льва Нецветаева и поэтическую подборку, в которой «срастаются слово и боль» уральской поэтессы Надежды Смирновой. И, как часто бывает, в стихах разных авторов вдруг слышится созвучие.

*За что к нам, мелочным и злым,
с небес спускается награда –
волшебный этот белый дым
цветов божественного сада? (Лев Нецветаев)*

*Божий сад – мое окно;
подошли впритык морозы,
застывают ветра слезы,
на стекле – герань и розы,
хризантемы и мимозы,
лес и речки полотно... (Надежда Смирнова)*

В разделе «Река воспоминаний» читайте рассказ Ольги Дарановой «Настина стежка» из недавно вышедшей книги «Флейта осени». Мы рассказываем и о презентации этого сборника, которая недавно состоялась в областной научной библиотеке имени

Ленина. Кроме того, Ольга Даранова – автор проекта «Голоса из хора. Русская поэзия XX века», мы продолжаем публикацию очерков из этого цикла. 30 мая – день памяти Бориса Пастернака. Этой дате посвящена публикация «И вся земля была его наследством...».

Продолжаем знакомить читателей с творчеством поэта-фронтовика Игоря Григорьева, публикуем его стихи. В этом году Игорю Григорьеву исполняется 95 лет, объявлен Международный конкурс лирико-патриотической поэзии «На всех одна земная ось», посвященный юбилею поэта.

В апреле-мае 2018 года в Ульяновской галерее Союза художников экспонировалась персональная выставка Станислава Слесарского. На цветной вкладке представляем репродукции его картин и предлагаем вниманию читателей интервью с художником.

18 мая отмечается День музеев. Именно в этот день мы вспоминаем Ирину Павлову, которая была основателем Ульяновского музея народного творчества. Читайте об этом очерк Маргариты Смирновой. В разделе «Родом из детства» публикуем рассказ-воспоминание Нинель Добрянской «Голубечики мои миленькие». Страницы традиционного «Юбилейного календаря» подготовлены поэтом и краеведом Николаем Маряниным.

В рубрике «Дорога к храму» начинаем публикацию книги «Наше небесное Отечество». Ее автор – уроженец Ульяновской области, друг Валентина Распутина, известный русский писатель Валентин Курбатов (г. Псков). Мы благодарны Валентину Яковлевичу за сотрудничество и возможность общения.

«Дороги истории долги, и на них может не хватить жизни, но все они, если чувствовать их верно и выходить с зоркой душой, ведут нас к себе, к своему Господню образу. Мы выходим в наше небесное отечество, чтобы вернуться к преображенному земному». (В. Курбатов).

Хочется, следуя этому настрою, «верно чувствовать свою дорогу и выйти в путь с зоркой душой».

Елена КУВШИННИКОВА



ЛИТЕРАТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ

«ВПЕРЕД, К КЛАССИКЕ!»

В июне 2018 года состоится очередная церемония вручения ежегодной Международной литературной премии имени И.А. Гончарова. Почетными гостями мероприятия традиционно станут представители Союза писателей России, члены комиссии по присуждению премии, потомки семьи Гончаровых.

Литературная премия имени И.А. Гончарова была учреждена в 2006 году правительством Ульяновской области и Союзом писателей России в рамках подготовки празднования 200-летия писателя. В 2012 году, в год 200-летнего юбилея романиста, она изменила свой формат – стала международной. И сегодня премия нацелена на укрепление интереса к творчеству И.А. Гончарова, на стимулирование изучения его многоаспектного наследия, сохранение и развитие традиций русской классической литературы в целом. Присуждается в трех номинациях: «Мастер литературного слова», «Ученики И.А. Гончарова», «Наследие И.А. Гончарова: исследования и просветительство». Церемония вручения премии приурочена ко дню рождения писателя (18 июня) и традиционно проходит в Симбирске-Ульяновске, родном городе романиста.

Лауреатами Международной литературной премии имени И.А. Гончарова за эти годы стали известные российские и зарубежные прозаики и исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Архангельска, Йошкар-Олы, Ярославля, Курска, Нижнего Новгорода, Иркутской области, Якутска, Республики Беларусь, Венгрии, Германии, Японии. Они и сегодня поддерживают творческие связи, делятся своими находками и открытиями с сотрудниками Историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова – единственного в мире музея прославленного классика русской литературы.

По просьбе сотрудников Дома Гончарова лауреаты премии разных лет ответили на простые, незамысловатые, на первый взгляд, но принципиально важные

для понимания ценностной ориентации премии, определения ее места в современном социокультурном пространстве вопросы. Получились яркие, в отдельных случаях масштабные творческие зарисовки, вылившиеся в креативный диалог разных поколений творцов слова и исследователей-словесников. Эти размышления внесли новые существенные детали в осмысление нравственно-этической направленности Международной литературной премии имени И.А. Гончарова, а также в восприятие наследия самого романиста в различных областях искусства, науки, увековечение памяти писателя.

*Заведующая сектором научно-исследовательской работы
ИМЦМ ИА. Гончарова Ирина Маршалова*

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

– Что означает для Вас звание лауреата Международной литературной премии им. И.А. Гончарова?



Елена Крюкова, лауреат Международной литературной премии им. И.А. Гончарова 2015 г. в номинации «Мастер литературного слова»:

– Прежде всего литературная премия для любого писателя – это его признание, это включение его работ в современное литературное пространство, где его книги начинают жить, быть востребованными, интересовать и профессионалов, и просто читателей.

А Международная Гончаровская премия сразу вписала мой роман «Беллона» в литературную летопись начала 21-го века. Статус международной премии сразу резко повысил интерес публики к этой книге. Она стала переиздаваться. У нее появились зарубежные читатели.

И со всей России, и из стран мира мне сейчас люди пишут письма по прочтении романа – и я понимаю: может быть, мне удалось в этой вещи сделать то, чего не делал никто.

Я думаю, высшее счастье художника – когда он открывает неизвестные земли. Когда, как в моем стихотворении «Орган»: *«...и мне возможно в полный голос спеть / То, что вчера я шепотом сказала»*. В искусстве счастлив тот, кто берется за неизведанное. Совершает дерзкую и важную работу духа. Решает старую тему по-новому.

Кто только не писал о войне! Я попыталась взглянуть на последнюю великую войну под иным углом зрения. Дети и война... Тема во многом страшная, пол-

ная боли. Но детство остается детством. А человек – в сердцевине бесчеловечия – все равно человеком. Это роман о милосердии. О любви внутри ненависти.

После того, как «Беллона» стала лауреатом Международной литературной премии им. И.А. Гончарова, она стала дипломантом Литературной премии им. И.А. Бунина (2015), финалистом премии им. А.М. Горького (Москва, 2016) и сейчас, в 2018 году, – лауреатом Международной литературной премии им. Эрнеста Хемингуэя (Канада) в номинации «Крупная проза: роман». А начало положила именно Гончаровская премия. О чем говорит это внимание высокого литературного сообщества к роману? Может, о том, что я в этой книге «зацепила» какие-то очень важные положения, архетипы бытия.



Андрей Антипин, лауреат Международной литературной премии им. И.А. Гончарова 2015 г. в номинации «Ученики И.А. Гончарова»:

– Весть о том, что я победил в конкурсе, стала для меня (как, наверное, для большинства лауреатов) большой неожиданностью. И, не скрою, приятнейшей радостью. Откровенно говоря, до июня 2015 года, когда я вошел в число лауреатов, веры в честность жеребьевки и, как теперь говорят, «прозрачность» такого рода выборных процессов, как распределение литературных премий, у меня не было. Так что, посылая свою книгу на конкурс, я не тешил себя и малой надеждой на успех. В этом смысле присуждение Гончаровской премии – знаковое для меня событие: я уверовал в собственные силы и в силу своих книг, которые, как оказалось, способны (по Пушкину)

«чувства... пробуждать». Уже будучи в Ульяновске, узнал, что конкурсную комиссию составляют по преимуществу сотрудницы музея Гончарова, председатель ульяновского регионального отделения Союза писателей России и другие простые хорошие люди. Со многими мне посчастливилось общаться в праздничные Гончаровские дни. Надо ли говорить, что положительное решение жюри, не ангажированного в вопросах современного литературного процесса, тем более почетно, в особенности для молодого писателя! Для меня моя победа в конкурсе все равно, что выбор моих читателей, людей, для которых я живу и пишу, чьим мнением дорожу, на чью любовь рассчитываю.



Евгений Анташкевич, лауреат Международной литературной премии имени И.А. Гончарова 2016 г. в номинации «Мастер литературного слова»:

– Признание – многовекторное и многослойное! Признание писателей, коллег по цеху! Признание читателей! Но поглавнее будет, признание библиотечно-музейного сообщества – единственной в области книги гуманитарной, а не коммерческой, профессиональной среды. Писатель структура эмоциональная – вдохновение и порыв, а дальше, как лихая тройка, выносит талант, а если брать поскромнее – способности. Читатель это главный фильтр, но на читателя, во всей его массе, влияет и настроение, вплоть до сиюминутного – дурное настроение, не пошла первая страница, и книга легла в сторону. На читателя действует мнение авторитета сегодняшнего дня, мода, события, вроде того что, а до романов ли сейчас, а может, пора подумать о насущном! А музей и библиотека, это время, переплавленное в мудрость. Инеродное тело в библиотеке и в музее долго не залежится и не только потому, что там иной раз устраивают инвентаризации, а потому что работают мудрые женщины, жрицы искусства, которые на книжной полке повиты и умным словом вскормлены, Великие волшебницы культурного космоса. А мы все в этом храме, и писатели, и читатели – только прихожане. Симбирск-Ульяновск является капищем музеев и родиной не одного писателя, поэтому мне, как соискателю премии, было особенно тревожно и ответственно перед жюри, зная, что в отборе активное участие принимали сотрудницы двух головных учреждений – музея им. Гончарова и Областной научной библиотеки.



Евгений Сафронов, лауреат Международной литературной премии имени И.А. Гончарова 2016 г. в номинации «Ученики И.А. Гончарова»:

– Звание лауреата для меня важно в том смысле, что оно укрепило веру в себя и свои творческие возможности. Мы все обладаем способностями к творчеству в той или иной степени. Ощущение того, что написанное/созданное кому-то нужно и интересно, мотивирует на дальнейшую работу, помогает «взяться за перо» и воплотить в жизнь образы, сюжеты и идеи, которые могли бы просто уйти и забыться.



Ирина Беляева, лауреат Международной литературной премии имени И.А. Гончарова 2017 г. в номинации «Наследие И.А. Гончарова: исследования и просветительство»:

– Лауреатом Международной литературной премии имени И.А. Гончарова в номинации «Наследие И.А. Гончарова: исследования и просветительство» я стала в 2017 году, когда исполнялось 205 лет со дня рождения писателя. Уверена, что это особо почетно – получить премию в юбилейный год, – что это ко многому обязывает будущего лауреата, потому долго не решалась и даже в принципе не собиралась свою книгу о Гончарове и Данте подавать на конкурс. И если бы не настоятельные просьбы моей коллеги из Венгрии,

профессора университета в Дебрецене, Ангелики Молнар, я бы этого так и не сделала. Почему? Ну мне казалось, что я все же довольно случайный человек в гончарововедении, что больше занимаюсь творчеством И.С. Тургенева, с которым у И.А. Гончарова, как известно, были уж очень непростые отношения.

И все же мое решение участвовать в конкурсе было принято и мотивировано в первую очередь вот чем: поскольку я довольно давно разрабатываю эту тему – «Гончаров и Данте» – мне всегда казалось несправедливым, что писатель, который не просто Данте сомасштабен, а который создал, в отличие от тех, кто хотел, но не создал, современную, на русской почве и материале русской жизни «тройственную поэму», нами, читателями, вовсе так не воспринимается. Чаще в контексте русской дантеаны упоминаются имена А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя или же символистов, но никак не Гончарова. Поэтому мне действительно хотелось, чтобы, возможно, прочитав мою книгу, читатели на Гончарова посмотрели иначе – не просто как на создателя великого мифа об Обломове или как на тонкого бытописателя, а как на художника, который разговаривает с ними на современном языке о том, о чем говорил когда-то и Данте со своими современниками – как уцелеть человеку душой и духом в этом мире, оставаясь человеком, а потому существом со всеми его земными слабостями. Хотелось, чтобы все всерьез задумались, какой он – «русский Данте» И.А. Гончаров.

Много занимаясь этой темой, я совершенно убеждена, что романы Гончарова – «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв» – не просто сомасштабны трем кантикам «Божественной комедии», но что сам писатель не мог этого не понимать. Однако никто из современников, тем более он сам, нигде не позволяли себе сопоставлений его сочинений с Данте. Они – допускаю – того не видели, что, если честно, для меня и по сей день остается загадкой – почему не видели? А он – не осмеливался по невероятно скромной и сомневающейся природе своей. Словом, в определенной мере я чувствовала на себе ответственность за тему «Гончаров и Данте» и потому решила представить книгу на конкурс, чтобы она стала известна. Дело в том, что в продажу моя монография не поступала, ее тираж весь остался в стенах университета (Московского городского педагогического университета), его издавшего, которому я чрезвычайно признательна за поддержку, а читателю может быть доступна только электронная версия книги, размещенная в том числе на моей личной страничке в eLibrary.

Все вышесказанное, как мне думается, объясняет и то, что мне сложно ответить на вопрос, который мне задали организаторы конкурса: **«Что означает для Вас звание лауреата Международной литературной премии им. И.А. Гончарова?»**. Дело в том, что я искренне полагаю, что в лауреатстве моя заслуга невелика. Те, кто читал уже мою книгу или мои статьи, посвященные дантовским контекстам Гончарова, знают, что пишу я о вещах очевидных, которые говорят сами за себя. Просто, наверное, мне повезло, и у меня получилось все эти очевидные вещи сформулировать и описать в книге. Но я очень рада тому, что дантовскую тему у Гончарова признали коллеги и оценили ее значение. Словом, тут важнее тема, чем мои личные научные амбиции.



Юрий Лунин, лауреат Международной литературной премии имени И.А. Гончарова 2017 г. в номинации «Ученики И.А. Гончарова»:

– Стать лауреатом литературной премии с достойным призовым фондом – это всегда приятно. Вдвойне приятно, если эта премия носит имя великого писателя и вручается на его родной земле. Я всегда буду дорожить воспоминанием о проведенных в Ульяновске днях.

– Сыграла ли победа в Вашей номинации роль в дальнейших творческих планах? Если сыграла, то какую?

Елена Крюкова:

– Сыграла! И очень большую. Во-первых, победа в литературной премии – это творческая победа. Это не погоня за славой во что бы то ни стало, а это невероятная радость от того, что твою серьезную работу оценили по достоинству. Чувство это человеческое, понятное каждому. Победитель, он охвачен радостью, он хочет поделиться этой радостью с другими – а чем писатель делится с людьми? Своими новыми книгами! И, вдохновленный и воодушевленный, лауреат работает еще лучше, еще смелее. Идет вперед.

Со мной так и получилось. После победы в Гончаровской премии я стала интенсивно работать. Не удивлю никого, кто знает меня: просто не вылезая из творческой мастерской. После «Беллоны» были написаны романы «Старые фотографии», «Рай», «Безумие», «Солдат и Царь», «Евразия» – лауреаты и финалисты российских и международных литературных премий...

Гончаровская премия – счастливая для меня! Признание именитых мэтров, художников слова, известных прозаиков, мастеров русской литературной критики явилось для меня толчком к работе. Любое высокое поощрение твоих трудов воодушевляет.

Андрей Антипин:

– Однозначно: да, сыграла. А точнее, «сдвинула» мою жизнь с мертвой точки, на которой она к тому времени пребывала. Буквально: отправляясь в Ульяновск на церемонию вручения премии, я во второй раз за жизнь (впервые это случилось в октябре 1993 года, когда я ездил с мамой в Улан-Удэ, где проходил воинскую службу мой старший брат) выехал за пределы Иркутской области! А до этого, как говорят в Сибири, «не было дороги» (то есть веской причины

на выезд). Не знаю, благорасположение ли это Ивана Александровича или просто совпадение, но после получения Гончаровской премии я побывал с литературными визитами не только в Ульяновске, но и в Новосибирске на Международном литературном фестивале «Белое пятно» (ноябрь 2015 года), на Первой двусторонней встрече китайских и российских молодых авторов в Шанхае (в конце того же 2015 года). Кроме того, в марте 2016 года стал лауреатом Всероссийской литературной премии «Золотой Дельвиг» (кстати сказать, тоже в номинации для молодых писателей), а в августе 2016 года по приглашению арабской стороны посетил в составе российской группы Палестину, где проходил VIII Международный фестиваль деятелей культуры и искусства. Верю, что эти изменения в моей жизни, опыт новых поездок, встреч с интересными людьми, знакомства, переросшие в дружбу, – все-таки не обычное совпадение, а покровительство Ивана Гончарова!

Евгений Анташкевич:

– Сыграла, стало спокойнее на душе, но не потому что: диван, телевизор, семечки и диплом, как икона в красном углу, хотя и это. Я, как лауреат номинации «Мастер художественного слова», в данном случае беру шире, чем «исследования и просветительство», поскольку можно работать дальше, создавать «вымыслы» и новые смыслы, писать, раз тебя признало сообщество в лице Союза, а также читатели и библиотечно-музейное братство.

Евгений Сафронов:

– Прежде всего, победа позволила мне опубликовать научную монографию, которая давно уже ждала выхода в свет. Также совсем скоро я собираюсь издать новую художественную книгу – и этому, конечно, способствовало получение премии.

Ирина Беляева:

– С Гончаровым теперь мне уже сложно расстаться. Изначально мне казалось, что я «зашла» в его мир ненадолго: вот напишу о Данте – и все. Но материала так много, что его хватило и на книгу, и на специальный курс, который я уже не один год читаю студентам МГУ имени М.В. Ломоносова, и курс этот все время пополняется новыми фактами и мыслями. Поэтому на вопрос: **«сыграла ли победа в номинации «Наследие И.А. Гончарова: исследования и просветительство» роль в Ваших дальнейших творческих планах? Если сыграла, то какую?»** – я отвечаю так: победа укрепила в этой теме, и она меня пока не отпускает, волнует она и студентов – их немного, но они есть, а это уже большая радость.

Юрий Лунин:

– Пожалуй, самое важное, что может дать молодому автору лауреатство в премии, – это чувство уверенности в своем писательском призвании. Тебя оценили, тебя выделили – значит, ты на месте. Трудись дальше и поменьше сомневайся в себе.

– **Сегодня вручается большое количество литературных премий. Выделяется ли на этом фоне Гончаровская премия и чем?**

Елена Крюкова:

– Конечно, выделяется! Во-первых, компактное количество номинаций – их всего три – сразу устраивает литератора на четкий жанровый и стилистический выбор. Во-вторых, все три номинации так или иначе связаны с именем Ивана Александровича Гончарова, с его произведениями. Эта близость к большому русскому Мастеру, этот настрой на подобную высокую планку, несомненно, важны для соискателя. Высота планки уже задана великим русским мэтром, и любой участник конкурса понимает: чтобы победить, нужны не цирковые упражнения в языке, не эпатажность или скандальность темы, не поверхностный вербальный блеск, а глубина мысли и широта охвата материала, работа с художественным образом, проникновение в суть явления, которое изображаешь, опора на высокую нравственность, на духовность, – словом, те позиции, которые от века были позициями классической русской литературы. При этом надо помнить, что любой художник имеет право на эксперимент, если он оправдан всем образным и смысловым вектором текста! Не «назад, к классике», а «вперед, к классике!» – так бы я обозначила внутреннее кредо Гончаровской премии, ее смыслы.

Андрей Антипин:

– Безусловно, премия Гончарова стоит в некотором смысле особняком. Как честная, справедливая премия, свободная от групповых интересов «извне», то есть от всей этой литературной тусовки, которая в случае со многими другими премиями влияет на распределение этих премий согласно принципам, далеким от борьбы художественных систем. Говорю о честности Гончаровской премии не только потому, что я был ею отмечен. В разное время лауреатами становились достойнейшие авторы современности, будь то Вильям Козлов или Евгений Шишкин, Василий Дворцов или Елена Крюкова. Но, что важно, Гончаровская премия не ставит перед собой задачи «подбирать» медийно раскрученных авторов. Наряду с действительно известными писателями лауреатами премии становились и доселе неведомые (или почти неведомые) авторы из регионов (таким неведомым автором из глубинки России стал я). Хорошо, что премия уделяет внимание провинции, где во все времена таились подлинно национальные силы и соки русской литературы (что было доказано феноменом того же Ивана Гончарова). При этом Гончаровская премия «держит планку», ориентируясь на высокие художественные образцы прозы Ивана Гончарова. Стать лауреатом премии имени великого симбирца – огромная честь! Особенно радует, что есть номинация для молодых авторов, в которой в разные годы были отмечены мои ровесники – талантливые прозаики Андрей Тимофеев и Юрий Лунин.

Евгений Анташкевич:

– У любой премии есть денежный источник, в этом отношении все премии одинаковы, а дальше возникает грибоедовский вопрос: «А судьи кто?». **Здесь** прочерчена разделительная линия между премиями. Лично я на «некоторые» премии ничего не посылаю, точно зная, что «я» не «их». Премия им. И.А. Гончарова являет собой пример справедливости

и непредвзятости, как будто соревнуются не авторы, а тексты. Была бы возможность, еще бы «подался», но знаю, что в этот свежий источник дважды не войдешь. Так хоть посидеть на берегу!

Евгений Сафронов:

– На мой субъективный взгляд, Гончаровская премия – несмотря на свой международный статус и существенный премиальный фонд – воспринимается как «домашняя, своя» (в самом хорошем смысле). Это чувство поддерживается и близостью И.А. Гончарова к Симбирску-Ульяновску, и заметностью (центральностью) его дома-музея в городском пространстве.

Ирина Беляева:

– Литературных премий много, но номинаций, которые бы оценивали исследовательский и просветительский труд ученых и преподавателей, я не знаю. Есть гранты, которые выдаются ученым от РФФИ и другими авторитетными исследовательскими фондами, но Гончаровская премия поддержана на уровне правительства и губернатора Ульяновской области, что свидетельствует о государственном попечении этого важнейшего для русской культуры дела – сохранения наследия великих русских писателей. Я не знаю других примеров. Возможно, я плохо осведомлена, но информации о подобного рода проектах я не встречала. Поэтому Гончаровская премия уникальна и могла бы стать примером для других субъектов нашей страны. В любом случае этот опыт можно распространить. Отрадно также, что премия ежегодная, а это означает, что на Гончарова и на русскую культуру в крае смотрят не как на что-то временное (отпраздновали юбилей и забыли), а все стоит на прочных основаниях. Думаю, что это во многом происходит благодаря сотрудничеству и содружеству всех деятелей культуры, музейных работников, ученых и руководителей края.

Юрий Лунин:

– Да, я бы назвал Гончаровскую премию особенной. Притом что она прекрасно организована, имеет международный статус и носит имя писателя мирового значения, она какая-то совсем не шумная, не напыщенная, не помпезная, – одним словом, интеллигентная. Быть может, на чей-то вкус это вовсе не комплимент, однако для меня эта интеллигентность – несомненное достоинство, которое роднит премию с тем человеком, в честь которого она учреждена. Я очень надеюсь, что растущий интерес к премии не помешает ей это достоинство сохранить.

– На Ваш взгляд, какое влияние оказывает Международная литературная премия им. И.А. Гончарова на современный литературный процесс и развитие науки о Гончарове?

Елена Крюкова:

– Литературная премия с такими серьезными, высоконравственными и высокохудожественными литературными установками за эти годы уже стала профессиональным ориентиром для ряда современных писателей России. Когда автор, закончивший работу над новой книгой, хочет показать ее на литературную премию, перед ним целый премиаль-

ный список, и он может из него выбирать. И, если он выбирает Гончаровскую премию, – у него есть шанс творчески посостязаться с созвездием славных современных литературных имен.

За последние годы эту премию получали прекрасные литераторы России и мира, и прозаики, и литературоведы, и исследователи творчества Ивана Александровича Гончарова, и значит, Международной литературной премии им. И.А. Гончарова есть чем гордиться!

Пользуясь случаем, хотела бы передать приветы всему коллективу Музея И.А. Гончарова, Союзу писателей Ульяновска, Администрации Ульяновской области, Губернатору Сергею Ивановичу Морозову – словом, всем, кто организовал премию, поддерживает ее, направляет и формирует. Пусть премия живет и здравствует! Радости, дорогие, вам всем! Счастья и творчества!

Андрей Антипин:

– Мне кажется, о влиянии премии Гончарова на литпроцесс лучше всего говорит факт, о котором я уже сказал. Имею в виду привлечение в качестве соискателей (а потом и лауреатов) премии авторов из провинции, в особенности – молодых писателей. Это то самое благотворное «пускание» крови, которое высвобождает из регионов огромный творческий потенциал и укрепляет, одухотворяет российскую культуру. В противном случае, без внимания к авторам с периферии, этот потенциал иссыкает, а вера в собственные силы, сколь бы прочной она ни была, со временем истрачивается в человеке. Спасибо Гончаровской премии за то, что она не дает писателям потерять эту веру или израсходовать потенциал в пустоту. Ну а о влиянии премии на развитие науки о Гончарове, наверное, скажут лауреаты в соответствующей номинации.

Евгений Анташкевич:

– Существенный! И на то и на другое, и именно на процесс. Премирование талантов рождает таланты, а когда отмечают «своих», а это бывает часто, что уж греха таить, плодят «своих». Рождение талантливых писателей это основная часть литературного процесса – это база, а поддержка этих писателей и означает развитие их творчества, т.е. литературного процесса.

Науку о Гончарове можно считать особым направлением литературы и как его дополнительно поддержать, если не премией имени этого гиганта великой русской литературы.

Евгений Сафронов:

– Мне кажется, что премия с каждым годом набирает вес именно в гончароведении. Значимо, что ее получают не только писатели, но и исследователи, которые изучают творчество автора «Обломова», в том числе и зарубежные ученые. На вопрос, оказывает ли влияние премия на современный литературный процесс, я затрудняюсь ответить, но вот то, что она определенным образом позиционирует наш город, делает его известным и в России, и за рубежом – это несомненно.

Ирина Беляева:

– Я искренне могу ответить, что это очень важно, особенно для молодых исследователей, знать и понимать, что их поиски и труды востребованы, что у них немало единомышленников в изучении наследия русской классики и в том числе мира Гончарова, который не только до сих пор не понят, но и в принципе каждый раз открывается тому или иному времени только одной своей стороной – многие еще открытия, которые необходимы и насущны своему веку, впереди. И премия тут – не только материальное подспорье, но и прежде всего знак сопричастности важному делу понимания русской литературы.

Юрий Лунин:

– Мне кажется, тесная связь премии с исследованием творчества и жизни Гончарова как раз и обеспечивает ту особую интеллигентную атмосферу, о которой я упомянул выше. Наряду с открытием новых имен в литературе (что является одной из главных задач любой литературной премии) здесь совершаются новые открытия в гончароведении. Здесь писатель может пообщаться не только с писателем, но и с филологом, и с сотрудником музея, и с потомком рода Гончаровых. Границы стираются, благодаря чему премия приобретает общекультурное значение.





Татьяна АЛИСЕВИЧ, главный библиотекарь отдела ЦГСБ им. И.А. Гончарова

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАЛ ГЕРОЕВ ГОНЧАРОВА

26 апреля 2018 года в торжественном зале историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова в очередной раз состоялся городской творческий фестиваль «Литературный бал героев Гончарова».

Организатор фестиваля – центральная городская специализированная библиотека им. И.А. Гончарова. Бал, как и подобает, открылся классическим вальсом. Его исполнили участники народного коллектива ансамбля спортивно-бального танца «Вариант» – Анна Суворова и Федор Грибаков.

Музыкальную часть литературного бала продолжили учащиеся областной детской школы искусств – Ирина Карпухина (флейта) и Элен Карапетян (скрипка). А исполнение концертмейстером Мариной Витальевной Москалевой фрагментов каватины из любимой Гончаровым оперы Беллини «Норма» настроило весь зал на тонкий лирический лад, что и было необходимо для перехода к романтическим страницам романов И.А. Гончарова.

Высокую ноту поддержали выступления десятиклассниц школы №57 – Лебедевой Людмилы и Сызганской Виктории, с монологами Ильи Обломова и Ольги Ильинской о том, что же такое настоящая жизнь и настоящее чувство.

Вообще, на этот раз фаворитом фестиваля оказался роман Гончарова «Обломов». Для каждого возраста школьников (6–10 классов) нашлись соответствующие страницы романа для инсценировки.

Шестиклассники Лаишевской школы прекрасно инсценировали страницы, посвященные детству Обломова. Семиклассники гимназии №34 разыграли тонкую символическую сцену «Ветка сирени».



Но не только страницы романа «Обломов» и его герои «присутствовали» на балу. Обращались школьники и их наставники-педагоги к географическому роману «Фрегат «Паллада», к образу Веры из романа «Обрыв», к сложному пассажиру пейзажной зарисовки «Сумерки» из повести И.А. Гончарова «Счастливая ошибка».

Ребята много и основательно, вдохновенно готовились к выступлениям. Чего стоит только коллективное участие 10-х классов школы №52 в разноплановой инсценировке по роману «Обломов» и виртуальном путешествии по музею Гончарова! Для каждого из восемнадцати участников нашлась своя роль, свой образ!

Выступления сменяли друг друга, всякий раз дополняя представления слушателей о творчестве И.А. Гончарова, каждый участник вкладывал в свое выступление что-то личное, близкое ему. Именно так и достигалось проникновенное восприятие текстов классика, приближение к пониманию замысла автора. Главное, несомненно, современным молодым читателям близок Гончаров. Все участники фестиваля по его окончании получили дипломы и книги.

Все участники единодушно выразили готовность к участию в фестивале в следующем году. На память по традиции сделали общую фотографию.



Станислав МИНАКОВ – поэт, прозаик, публицист. Родился в 1959 году в Харькове. Член Союза писателей России, член русского Пен-Клуба, лауреат премии им. Б. Слуцкого, Международной премии Арсения и Андрея Тарковских, премии им. братьев Киреевских и др. Живет в Белгороде.

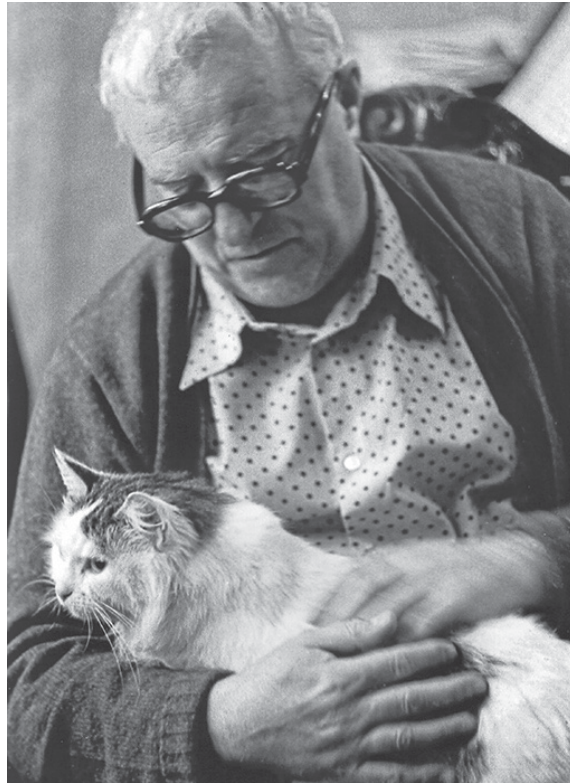
ДНЕВНИКИ СВИРИДОВА – РУССКОЕ ТРУДНОЕ ЧТЕНИЕ

К выходу в свет второго издания книги «Музыка как судьба»

В дневниках композитора и русского мыслителя Георгия Свиридова находим такое высказывание: «Русская душа всегда хотела верить в лучшее в человеке (в его помыслах, чувствах). Отсюда восторг Блока, Есенина, Белого от революции (без желания стать «революционным поэтом» и получить от этого привилегии). Тысячи раз ошибаясь, заблуждаясь, разочаровываясь, – она не устает, не перестает верить до сего дня, несмотря ни на что!».

В годовщину 100-летия двух русских революций с новой пристальностью прочитываются и такие слова Г.В. Свиридова, кажущиеся сегодня чрезвычайно актуальными: «Художественная среда представляет из себя вполне сложившееся явление («свой круг»), на редкость «косное», высокомерное, живущее в сознании своей «избранности». Это нечто вроде нового дворянства (интеллектуальная элита). Эта среда безо всякого интереса относится к народной жизни и, если удостаивает простой народ своего внимания, то обычно изображает его носителем мрачного, грубого, низкого, сознательно культивируя такое отношение из поколения в поколение. Часто народное изображается как лакейское: кучера, кормилицы, дворники и т.д. ...Такое отношение к русскому народу укоренилось глубоко в сознании «музыкальной интеллигенции». Оно пришло на смену «народной идее» великой русской литературы (и искусства), идущей еще от Пушкина, Л. Толстого, Достоевского. Ими народ рассматривался как «высший судья» поступков человека, воплощение стихийного начала. Сравните, например, в «Борисе Годунове» – «Народ безмолвствует» – многозначительную ремарку Пушкина. Или покаяние преступника перед народом: «Преступление и наказание», «Власть тьмы». То же у Глинки («Сусанин»), Мусоргского («Борис» и «Хованщина»), Бородина («Князь Игорь») и т.д.

Если современный художник пытается изобра-



Г.В. Свиридов.
Из альбома «Неизвестный Свиридов». 2015 г

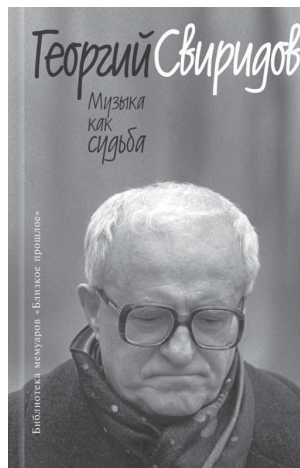
зять народ не грубым, глупым, жестоким и низким, а найти в нем элементы возвышенного духа, тут же будут говорить об «идеализме» и т.д. Но народ – ни добрый, ни злой, он бывает и таким, и другим, он – всякий, он – стихия. А интеллигенция – культура, т.е. надстройка, верхний слой с большим количеством пены, как в океане».

* * *

Большая посмертная книга композитора Георгия Свиридова «Музыка как судьба» первый раз вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 2002 г. Она сразу стала фактически настольной у многих, ждавших ее. В ней, составленной из «Разных записей» (девятнадцати тетрадей), дневниково охватывающей десятилетия, виден непростой внутренний путь художника, словно разгребавшего завалы безбожной русской жизни советского периода, о котором Свиридов с какого-то момента

стал говорить как о времени геноцида русского народа и православия.

В своих записках великий композитор выступает как значительный русский мыслитель, острый публицист. Суждения его пронзительны, резки и глубоки, обусловлены сердечной думой, болью за Россию, русскую жизнь, русскую культуру. Читая Свиридова, вспоминаешь и «Окаянные дни» И. Бунина, и «Мысли о России» Ф. Степуна, и «Опавшие листья» В. Розанова. Изданные близкими и исследователями уже по кончине композитора, с напутствием А. Солженицына, записки эти, по меткому замечанию одного из московских ученых, являют собой «свод глубоких и страстных



размышлений о духовной жизни эпохи, и по тону они даже вызывают в памяти пламенное, бескомпромиссное слово протопопа Аввакума».

Книга сразу стала библиографической редкостью, вызвала воистину шквал эмоций, что называется, с «обеих сторон», явившись внятными индикатором непреодоленного векового раскола в русском обществе, резко обострившегося в 1917 году.

Валентин Распутин, развивая самоопределяющую реплику Свиридова «воспеть Русь, где Господь дал и велел мне жить, радоваться и мучиться», высказал важную мысль: «Именно для того чтобы проложить дорогу Гаврилину, озвучить Есенина и Блока, заново прочитать Пушкина, подхватить умолкнувшие песнопения и молитвы, для того чтобы не закрался «пустырь» в души, и был «отставлен» Свиридов из XIX в XX век». И о книге дневников русского гения: «Свиридов как мыслитель, наблюдатель, человек огромной культуры, не только русской, но и мировой, «расшифровал» для нас так много в искусстве, жизни, в известных личностях, событиях прошедших и текущих, даже в Родине нашей, которую, оказалось, мы знаем мало; так точно сказал он о красоте и таланте, о чистом и святом в художнике и вокруг него и так решительно отделил талант от соблазна, чистый порыв от модного искушения, что великой этой книге великого автора полагалось бы сделаться настольной для всякого, кто еще не предался окончательно чужим богам в понимании прекрасного в искусстве».

Второе издание, коего ждали очень многие, состоялось через полтора десятилетия (в серии «Библиотека мемуаров: Близкое прошлое»). И это ожидание, и сам факт выхода, и реакция на него словно опровергли суждение академика Д. Лихачева: «Георгий Васильевич Свиридов – русский гений, который по-настоящему еще не оценен». И подтвердили вторую часть этого высказывания: «Его творчество будет иметь огромное значение в грядущем возрождении русского народа».

В промежутке между двумя изданиями был выпущен замечательный сборник «Георгий Свиридов в воспоминаниях современников», вышедший в той же «Молодой гвардии» в 2006 г. с предисловием В. Распутина.

Нынешний том включает и новые, прежде не публиковавшиеся тексты, а также комментарии, подготовленные музыковедом, президентом Национального Свиридовского фонда А.С. Белоненко и ведущим научным сотрудником Института мировой литературы РАН С.А. Субботиным.

Александр Сергеевич Белоненко, племянник

композитора, на мой прямой вопрос, чем второе издание отличается от первого, ответил в частном письме: «Книга обновлена за счет новых, более обстоятельных комментариев, которые мы поместили теперь в пристраничных сносках, а не в конце книги, что затрудняло чтение. Есть новые тексты двух маленьких тетрадок 1963 г., которые дают возможность проследить за некоторой эволюцией взглядов Георгия Васильевича по музыкальным, да и не только, вопросам, особенно, что касается, например, творчества Д.Д. Шостаковича, а также тетрадь 1984 г. Эта тетрадь восполняет лаку между записями тетрадью



1982 и 1987 г. В этой тетради есть, на мой взгляд, любопытные мысли для литераторов (некоторые новые соображения относительно Клюева, Есенина, Маяковского, Блока). Красной нитью в этой тетради проходит мысленный диалог Г.В. с В.В. Кожинным, чью книгу о русской поэзии Свиридов внимательно читал, и эта книга вся исчеркана вдоль и поперек. Причем он не только соглашался с Кожинным, но и критиковал некоторые его соображения».

Остановимся кратко на некоторых страницах книги Свиридова, относящихся к дневникам 1984 года.

Глава «Активная бездарность как производное Зла»: «Из бездарности человека, занимающегося художественным творчеством, и из сознания этой бездарности, того, что он бессилён пополнить сокровищницу мира своими деяниями и трудами, происходит подчас испепеляющая ненависть интеллигента к культуре и даже миру. Заметьте, простой человек, рабочий, например, имеющий дело с созиданием, вряд ли когда говорил и говорит о всемирном разрушении и т.д. Это дело так называемых «интеллигентных» людей. Анархисты – Бакунин, Кропоткин, Равашоль, фашист Маринетти, нигилисты Маяковский и А. Белый... Даже Махно – не мужик и не рабочий – учитель! Особенно много «разрушителей» было и есть в творческой среде. Искусство вообще несет колоссальную ответственность за умонастроения общества. Так называемый «авангардизм», богато субсидируемый, умело направляемый и железно руководимый, много сделал для ужесточения людских душ, он подготовил моральную почву для появления атомной бомбы, заранее оправдал ее применение.

Авангардизм – органическое самовыявление зла, бездарности, неспособности создания прекрасного. Это псевдоискусство, которое внушает нам, что мир безобразен, и разрушение, и даже утрата его – естественны и закономерны. Идея людей, направляющих подобное «искусство», – организация гигантской кровавой бани для всего человечества. Сами они

пытаются этой бани избежать. Для этого у сверхвла- дык есть много возможностей».

Разве скажешь, что эта запись от 1 февраля 1984 г. – не про сегодняшний день, не на нынешнюю именно что злобу дня, в самую зеницу этой злобы?

Непривычно и нелюбимы Свиридов порой говорит и об общепризнанных гениях в области культуры и искусства.

«Врубель – умозрительно декоративные композиции. Его гений заключен в его безумии, уничтожившем первоначальный рационализм замысла (рациональную задумку) и дававшим выход бессознательному...».

Чудесно сказано и о глубоко любимом им Блоке, на стихи коего композитор создал немало вокальных сочинений: «Он самым высоким образом оценил «Хованщину» (впервые тогда поставленную, назвав ее той тропинкой, над которой летит дыхание Святого Духа)...».

Или вот это, очень важное, на мой взгляд, от 4 февраля того же года: «Культура русского стиха, начиная с Пушкина и его современников, шла рука об руку с культурой русского романса, которую начали создавать Глинка, Алябьев, Варламов, Гурилев, Верстовский. Чайковский писал на слова Апухтина, А.К. Толстого, К.Р. Фета, Случевского, Мея. ... (далее перечисляются большой ряд создателей русских романсов – С. М.) ... Романс – явление неоднородное, следует разделять в нем: образцы высокого, классического искусства, бытовой романс, лакейскую песню («Всю то я вселенную проехал...»), цыганское пение (с хором), «жесткий» романс (песня городских низов) и т.д.».

Мы въяе видим подтверждение правоты нашего великого прозорливца, прямо терминологически выраженной, – как для адски «европеизирующей» Украины, так и для Российской Федерации: «Симфония – искусство буржуазного индивидуализма (говоря это, разумеется, без какого-либо желания «опорочить» великое) особенно активно стало выдвигаться у нас после революции в связи с общей идеей «европеизации», «германизации» русской культуры и идеологии, которая отождествлялась с самодержавием и православием. Этот процесс активно продолжается и теперь».

При этом про великого музыканта эпохи, титана русского симфонизма Свиридова находит и такие слова: «Жизнь Шостаковича – это жизнь борца. ... Я хотел бы прежде всего сказать о его непреклонном мужестве, вызывающем глубочайшее уважение. Мягкий, уступчивый, нерешительный подчас в бытовых делах – этот человек в главном своем, в сокровенной сущности своей был тверд как камень. Его целеустремленность была ни с чем несравнима».

В размышлениях «О рекламе» Свиридов выдает такое суждение: «Салон» приобрел размах общесоциальный». И общемировой, добавим мы. А уж если посмотреть наши телеканалы!..

24 января мыслитель записал: «Ложь вошла в сознание людей как правда. Вот в чем ужас!».

«Так называемое завоевание космоса есть всего лишь один из новых способов завоевания Земли. Пока не более того», – сказано очень вдумчиво и по сути верно и может быть воспринято как трезвое продолжение посылов Вернадского и Циолковского:

Запись «О большом и малом чувстве Родины»

следует привести целиком: «В наши дни (кажется, с руки Твардовского) распространилось малое, «местническое» чувство Родины, как чего-нибудь приятного, симпатичного, милого сердцу: две-три березы на косогоре, калитка, палисадник, баян вдалеке, сирень в городском саду, деревенская околица и пр. Все это, разумеется, очень симптоматично, но совершенно ничтожно.

Понятие Родины – очень объемно, оно – всеобъемлюще, грандиозно. Оно включает не только все, чем ты живешь, но и самый воздух, которым человек дышит, его прошлое, нынешнее и грядущее, где суждено жить и нам (как и людям прошедших поколений) своими потомками, своими делами, хорошими и дурными.

Родина это совсем не только симпатичное и приятное, но и горькое, и больное, а иногда и ненавистное. Все есть в этом понятии, в твоём чувстве к ней, без которого жизнь почему-то теряет смысл. Во всяком случае, для меня.., а между тем многие люди (русские) живут совсем без Родины, видимо, она составляла лишь малую часть их жизни, и, потеряв ее, они мало потеряли».

* * *

Егор Холмогоров в статье «Творить по-русски», опубликованной по выходе нового издания, говоря, что язык Свиридова сочен и образен, подмечает: для этого гения культура не пространство личностного самовыражения, а великое служение национальному духу. Публицист приводит дневниковое высказывание композитора, актуальность которого вызовет у многих радостное удивление: «Я русский человек! И дело с концом. Что еще можно сказать? Я не россиянин. Потому что россиянином может быть и папуас. Во мне течет русская кровь. Я не считаю, что я лучше других, более замечательный. Но вот я такой как есть – русский человек. И этим горжусь... Надо гордиться, что мы – русские люди!».

Публицист подчеркивает, что свиридовский отказ от умствования вовсе не означает отсутствие осмысления, и поражается тому, насколько и целно, и продуманно философское мировоззрение Свиридова, «мало того – богословское», которому подчинена его эстетика. «Прежде всего это стопроцентное православие, глубокая и искренняя, сознательная вера в Бога, – настаивает Е. Холмогоров. – Западная музыка – музыка смерти, она не идет дальше распятия, русская музыка устремлена к Воскресению, замечает композитор. ... Самые острые и болезненные рассуждения маэстро, где его талант достигает великой публицистической силы, связаны именно с отчуждением русского человека от родной культуры, произошедшим в XX веке под влиянием революции, безбожной диктатуры, под крылом которой размножились космополитические легионы». И цитирует Г. Свиридова: «Эти люди ведут себя в России, как в завоеванной стране, распоряжаясь нашим национальным достоянием, как своей собственностью, частью его разрушая и уничтожая несметные ценности».

Книга нашего русского гения «Музыка как судьба», в самом деле, хоть и пронизана болью и потому нелегка для восприятия, все же обязательна к прочтению.

Вот, к примеру, запись из тетради 1991 г. – сужде-

ние о большевиках, истязавших народ России: «Они посадили его, этот народ, на железную цепь, бесконечно унижая его, третируя, истребляя его святыни, его веру православную, его культуру, а главное – сам этот народ, который служил своей безликой массой своим палачам и тиранам, кровью своею питая их чудовищную, беспощадную власть. Падение России – как смерть Христа, убитого римлянами и евреями на наших глазах. Теперь эти собаки делят его тело и одежды. Кроют карту мира».

Строго? Но еще Патриарх Московский и всея Руси Алексей II заметил: «...Свиридов – такой художник, который заслужил право высказывать свои мысли».

Ценный материал для понимания душевного состояния великого композитора мы находим в его сравнении своей судьбы с жизнью первых христиан в древнеримских катакомбах, посреди языческого бесчестья. Запись сделана накануне августовских событий 1991 г.: «Это не жизнь, а «Ночь на Лысой горе» – шабаш зла, лжи, вероломства и всяческой низости. Все это происходит на фоне кровопускания, кровопролития пока еще скромных масштабов, но имеющих глаза да видит: в любой момент может политься большая кровь, за этим дело не станет!».

В 1993 г. за кровью дело не стало. Но за истекшее двадцатилетие эти полярности в русском обществе, похоже, лишь возросли. Внешне мы вроде бы видим восстанавливающиеся и новостроящиеся храмы, отсутствие гонений на веру, но свидетельствует ли это о подлинном духовном возрождении? Особенно если взглянуться – что же происходит в культуре, на телевидении, в печатных СМИ, на эстраде.

Когда читаешь у Свиридова «Россия – это колония», то вздрагиваешь, поскольку возразить и сегодня, по сути, нечего. Мы находимся под игом и гнетом транснациональных корпораций, расчленивших нашу Империю, в ее советской редакции, и выкачивающих недра и ресурсы глобалистским насосом, а также осуществляющих с целью более уверенного порабощения гигантское растение русских душ.

Свиридов провидчески писал в 1991 г.: «Мы переживаем эпоху третьей мировой войны, которая уже почти заканчивается и прошла на наших глазах. Страна уничтожена, разгрызена на части. Все малые (а отчасти и большие) народы получают условную «независимость», безоружные, нищие, малообразованные. Остатки бывшей России будут управляться со стороны – людьми, хорошо нам известными. Русский народ перестает существовать как целое, как нация. <...> Как быстро все произошло. С какой быстротой оказалась завоевана «Великая» держава. Чудны дела твои, Господи. Начальные деятели перестройки, заработавшие миллионы и миллиарды на этом страшном деле, частично переселились в Америку. Подготовка тотальной войны велась здорово: всеми средствами массовой информации, дипломатией и прочим. Угодили в крысоловку».

И тем не менее – надежда: «Христос Воскресе! Смотрел по телевизору выступление перед Заутренней Патриарха – грустное, но спокойное, потом водружение Святого Креста на купол Казанского собора... Боже, неужели это не фарс, а подлинное Возрождение, медленное, трудное очищение от Зла?!».

* * *

Книга Г.В. Свиридова «Музыка как судьба» приходит ко мне если не мистическим образом, то как послание. Первое издание было подарено ее научным редактором, на обороте титульного листа оставившим волнующую надпись: «Станиславу Минакову, чьи стихи были памятны великому автору этой книги. С. Субботин. Москва, 22 марта 2003 г.». Новое издание передал мне в подарок из свиридовского Курска лучший, на мой взгляд, исполнитель вокальных произведений Свиридова солист европейских оперных театров москвич Владимир Байков. С благодарностью думаю об этих людях, читая Г. Свиридова: «Русская культура всечеловечна, обращена ко всем людям земли, выполняя самую насущную свою задачу – питать душу своего народа, возвышая эту душу, охраняя ее от растрепания, от всего низменного».

В книге Свиридова есть и такие философские строки: «Ни простота, ни сложность сами по себе не представляют ценности. Однако же говорят «Божественная простота», и я никогда не слышал, чтобы говорили «Божественная сложность». Сложность есть понятие человеческое, для Бога же мир прост. Простота является как следствие неожиданного озарения, откровения, наития, внезапного проникновения в истину. Но никто теперь не хочет быть простым, боясь прослыть «примитивным».

«Слово и музыка, литература и музыка, музыкальное произведение может существовать только тогда, когда оно добавляет нечто к стихам или литературному сочинению. Иждивенчество: комиксы – вульгарный вкус и тон. ...Неточная, очень неожиданная и оригинальная рифма, которую теперь во множестве употребляют современные поэты, от какового употребления она становится либо заезженной, либо вычурной. ...Задача композитора совсем не в том, чтобы приписать мелодию, ноты к словам поэта. Здесь должно быть создано органичное соединение слова с музыкой. В сущности, идеалом сочетания слова и музыки служит народная песня».

Печально, что 100-летний юбилей композитора прошел в декабре 2015-го практически незамеченным СМИ. Это вам не сплетни обсуждать в ток-шоу на центральных телеканалах и не «праздновать» полувековые юбилеи поп-звезд, по три-четыре дня подряд заливая центральные телеканалы «контентом» попсы. Тут – огромные зрительские рейтинги. А слушать Свиридова – большой труд души. М. Залеская в статье «Пророк в своем отечестве» («Российская газета») с горечью напоминает, что в наших столицах до сих пор нет ни музея, ни памятника великому Свиридову, нет даже мемориальной доски, увековечивающей его память.

У русского композитора Георгия Свиридова были свои «сто лет одиночества», видимо, присущие любому гению. Оттого он писал: «В своей профессиональной среде я – пария, чужой человек».

И все же через два десятилетия по кончине наш русский гений приближается к нам, спасибо издателям.



СТРАНА ПОЭЗИЯ

Лев НЕЦВЕТАЕВ, член Союза художников России, почетный архитектор России, автор поэтических книг «Правда осени», «Стела».

ЧИСТЫЙ ТОН



Л. Нецветаев с поэтом В.А. Костровым

* * *

М.

Мне однажды приснится, что я взаперти,
руки связаны, крепок засов,
и метель замела все дороги-пути,
но очнусь – и пошлю тебе зов.
Знаю я: не поверит нигде и никто –
только что мне до этих тетерь –
потому что в сквозном полудетнем пальто
ты вот-вот постучишь в мою дверь.
Промолчат с превосходством тугие болты,
туго сдвинутся брови в ответ;
ты рванешь – и вся дверь разлетится в щепы,
потому что преград тебе нет.
И в бескрайних снегах запоют соловьи,
и ослабнет веревочный жгут.
Ты ко мне припадешь – и слезинки твои
мое черствое сердце прожгут.

1990-е

* * *

Судьба дает родителей и предков,
 тем самым предопределяя путь;
 Как разные плоды на разных ветках –
 вот так и мы кустимся как-нибудь.
 Тот – персик, тот – кизил, а эта – груша;
 а вот и волчья ягода – держись!
 Порядок задан, и его нарушить,
 боюсь, что не получится ни в жисть.
 Сие несправедливостью чревато,
 и вот она колотится в виски:
 ну чем полынью степная виновата,
 что не даны ей розы лепестки?
 Принцессу ту никто не пнет ногами –
 восторженно задержится любой.
 По полынку ж – тупыми сапогами, колесами...
 И порознь, и гурьбой...
 За что? За то!
 Умнее нет ответа.
 Судьба. Необсуждаемый закон.
 И снова ты – как в комнате без света,
 к тому же без дверей и без окон.

2000

В БРОШЕННОМ ДОМЕ

Сколько же здесь люди не бывали?
 Сорок лет, а то и пятьдесят?
 Даже пауки поумирали,
 лишь тенета пыльные висят.

Только что в углу за странный шорох?
 С лежака, отжившего свой век,
 отвалив тряпичный драный ворох,
 показался вроде б человек...

Всеми позабыт и позаброшен,
 но еще по странности живой,
 сединой неммыслимо заросший –
 абсолютно явный домовой.

Потолка проплешины сырые –
 видно, сверху капало не раз.
 Гигиена и санитария –
 как же он, родимые, без вас?

А ведь был, поди, отцом и мужем;
 не родился ж в этом он углу?
 Для чего руке дрожащей
 нужен тот стакан, лежащий на полу?

Можно все сказать: скотина, быдло;
 что ни скажешь – чем он будет крыть?
 Хорошо, что глаз пока не видно –
 можно тихо выйти и забыть.

ЗЕРКАЛО

Мелькают жизненные блики,
 мечты и факты.
 Вдруг кто-то в зеркале
 окликнет и спросит:
 «Как ты?».

Окликнет – словно в чистом поле
 столкнувшись с другом;
 и ты застынешь поневоле –
 почти с испугом.

Его ты видел временами –
 все вскользь и в спешке;
 а тут он смотрит,
 не мигая, и без насмешки.

У вас одно и то же имя
 и быта клетка.
 Он часто говорил с другими,
 с тобою – редко.

Шагнуть – и нет его,
 но что-то тебя удержит –
 как Петр, встречающий в воротах
 уже умерших.

Да и вопрос его, по сути,
 почти такой же:
 как ты пути и перепутья
 прошел и прожил?

И холодок скользнет по коже.
 Тоска немая.
 Что отвечать ему? Ведь он же
 и сам все знает.

Он знает все твои кульбиты –
 до самых стыдных –
 тех, что старательно забыты –
 следов не видно.

Таким он знанием наполнен,
 что хуже ада:
 «Быть может, отрочество вспомним?».
 Молю: не надо!

...Зеркал магическая сущность
 давно воспета.
 Глазеть подолгу в них не нужно –
 опасно это.

Бессильны здесь любые речи
 и укоризны –
 как репетиция той встречи,
 что после жизни.

2017

* * *

Как многое мне было не дано!
 Как волку не дано, подобно рыси,
 жить на ветвях, как рыбе, видя дно,
 вовек не ощутить надмирной выси –

так я, скрутясь в завистливый комок,
 смотрел на то, как с девочкой при встрече
 пацан-ровесник преспокойно мог
 ее привлечь за талию и плечи.

Возможно ль было в этот горный мир
 войти настолько смело и небрежно?
 И я за той, кем звался мой кумир,
 лишь наблюдал – восторженно и нежно.

Потом – я не решался танцевать,
смешил походкой – звали косолапым;
тут поневоле станешь рисовать
иль фильмы пересказывать ребятам.

Вот это помню с гордостью в груди,
и, видно, даже получалось ловко:
начнет лишь кто-то – скажут: «Погоди,
ты погоди, пускай расскажет Левка».

На лыжи с отвращением вставал,
и был каток не счастьем, а отравой:
ведь я лишь только в семьдесят узнал,
что левая нога короче правой.

И хоть давно прически молоко
мне стало дополнением к слову «старость»,
все стало и понятно, и легко:
хромай и дальше – много ли осталось?

* * *

Не мне осуждать великана-царя,
окно прорубившего к весту,
сказав, что за немца-голландца зазря
отдал он Россию-невесту,

румяную, сонную – спать бы да спать –
замченную в батюшкин терем,
куда не войдут ни охальник, ни тать,
где чижик – единственным зверем.

К цареву приезду учить «васиздас»,
затягивать брюхо корсетом,
и ежели чарку хмельную подаст –
не смей отказать при этом.

...Ударит в головушку зелье-винцо,
и вспыхнет мыслишка шальная:
что даден не на век же терем отцов;
что доля бывает иная...

В немецкой-то вон, говорят, слободе
и девки живут не замчены,
и сами по городу ходят везде,
и грамоте ихней учены.

Потом, пошушукавшись с младшей сестрой,
на батюшку станет коситься,
и хоть не шатнется родной домострой,
но трещинка в нем прозмеится.

Вдруг батя надолго исчезнет из глаз,
неведомой скручен хворобой,
и будет неясно, какой «васиздас»
с его приключился особой.

Обычно гремящий, стал тише воды,
но как-то мелькнет по-за дверью:
о Боже, на месте густой бороды –
какие-то драные перья!

Однажды замкнется и мрачно запьет,
чего никогда не случалось;
тогда не встречайся – жестоко прибьет
за самую малую малость.

А вскоре, мучительным гневом горя
от горькой томящей досады,
антихристом поименует царя,
и кум донесет, куда надо.

Приедут. Отец побелеет лицом
и чашкою звякнет о блюдце.
Меж двух офицеров, мертвец мертвецом,
уедет, не чая вернуться.

Был скор на правеж реформатор крутой,
и дерзких толпа поредела;
и ежели ветки летели щепой,
то лес-то рубился для дела.

Народишко жил – ни двора, ни кола...
Да кто был в России богатым?
Но шли в артиллерию колокола,
и бор обращался фрегатом.

И явственно переменились лицом
стратеги надменной Европы,
увидев взамен сиволапых стрельцов
гвардейцев чеканные роты.

И доблестным шведам настала пора
застыть в изумлении лютом –
когда, как щурята, галеры Петра
куснули их флот под Гангутом.

Наступит и тот ожидаемый срок,
когда их увенчанный славой
воитель получит кровавый урок
под мирно цветущей Полтавой.

...Он вывел Россию в просторы-моря
крутым поворотом штурвала.
А чтоб осуждать великана-царя –
охочих найдется немало.

Отрывок из поэмы «Михайловское» (1)

– Что, Александр опять в Тригорском?
Уж это, право, чересчур, –
сказал отец, кидая горстку
лежалой ржи десятку кур.

– Того гляди, его оженят;
не знаю, к худу иль к добру, –
добавил он, следя движенье
пятнистой кошки по двору.

(А не она ль цыплят таскает?
Аль, нету палки под рукой). –
И там, наверно, зубы скалит над верой,
умничек какой...

Ведь ничего ему не свято:
ни Бог, ни храм, ни отчий дом;
а мы – как будто виноваты,
что он почти что под судом.

Надежда Осиповна томно вздохнула:
верно, старший сын в те дни,
когда все вместе дома,
порой совсем невыносим.

– Боюсь, что это лишь цветочки –
к зиме и ягод поедим:
заметь, он к старостиной дочке
поблагосклонней, чем к другим.

– Да ну? К Калашниковой Оле?
А впрочем, девка хороша...
И, монами, не в нашей воле
пресечь такие антраша.

Он одичал в своем лице,
потом богемный дым столбом,
и ссылка – вряд ли панацея
для тех, кто тронулся умом...

– Но, Серж, не будь к нему суровым;
он нервен, как любой поэт,
и где, как не под отчим кровом,
искать забвение от бед?

– О, будь покойна – он отыщет
везде, где нету нас с тобой.
Он не духовной ищет пищи,
а плотской: грубой и земной.

Ему отцовские беседы,
как псу дворовому – коты;
и кто ему накликал беды,
о коих так печешься ты?

...А что в загадочном Тригорском?
О, там кипел клубок страстей,
почти мадридских иль андоррских –
все из-за парочки гостей.

Моложе – Вульф, постарше – Пушкин;
они, как юные коты
вокруг волнующей кормушки,
бродили, распустив хвосты.

И расцветал такой домашний,
невинный, невесомый флирт;
никоим образом не шашни...
Глоток шампанского – не спирт!

С той – прогуляться по лесочку,
а этой – нежная строка...
Всем понемножку, по кусочку;
пока – без ревности...
Пока...

ДЕМОН ПОВЕРЖЕННЫЙ

Зачем бессонный господинчик
(и неказист, и невелик)
с утра упрямой кистью тычет
в нездешний, непонятный лик?

То этот лик в слезах причастья,
то хмур, то яростен, то тих;
то расправляет крылья счастья,
то камнем рушится на них.

На том холсте пятиаршинном
его страстям наперекор

горят лиловые вершины
к земному равнодушных гор.

Вокруг – картины в пышных рамах.
Милы сюжеты и просты.
А этот Демон будто в ранах
своей зловещей красоты.

Художник суетлив и нервен,
печать безумья на лице:
вокруг – слепцы; он должен первым
сказать всю правду о Творце;

о том, что к гордым и свободным,
презревшим кротости ущерб,
он и издревле, и сегодня
пристрастен и жестокосерд.

И вот – бесстрашный богоборец
с высот небес обрушен в прах...
В изгибе губ – какая горечь
и сколько ярости в очах!

Да, он повержен, но не сломлен,
и вечен будет этот бой
гордыни против Божьей воли –
неравный бой с самой Судьбой!

...И, как от краешка колодца,
как от внезапного огня,
почтенный зритель отшатнется и буркнет:
«Грубая мазня!».

2016

ВОРОН

Мелькнуло лето,
 словно день вчерашний,
и за собой задвинуло засов.
И черный вран
 кружит над черной пашней,
над рыжими лохмотьями лесов.

Грядет зима –
 нешуточное дело.
Ему не ждать приюта и тепла.
А мелюзга,
 что щелкала и пела,
давным-давно за море утекла.

Ему судьба
 кружить над черным полем,
витать над белым саваном полей,
не чувствуя
 ни голода, ни боли –
один ознобный холод до костей.

...Весь день кружит –
 как будто кто-то нанял;
и даже утром, чуть займется свет,
маячит в небе,
 словно черный ангел –
чистилища неласковый привет.

СНЕГОПАД

За что к нам, мелочным и злым,
с небес спускается награда –
волшебный этот белый дым
цветов божественного сада?

Плывут, мерцая, лепестки
на нашу грешную обитель,
где столько злобы и тоски,
что предпочел уйти Спаситель.

Но столько красоты окрест
и в каждом ледяном кристалле,
что, зная, еще последний крест
на нас, безумных, не поставлен.

Матушке Магдалине на день ангела

Когда уйдет ночная тень
и солнце приласкает стены,
в обычный августовский день
проходят в небе перемены.

С небесной облачной гряды
над тихой волжской долиной
слетает ангел Магдалины
и смотрит на ее труды.

Там, где когда-то был разор,
что обходил сторонкой житель,
стоит торжественный собор
и многолюдная обитель.

Движенье около ворот.
По разным тропам и дорогам
сюда стекается народ
на личное общенье с Богом.

Здесь рады всем, здесь все равны –
какой бы ни покрыт одеждой,
Приходят, одушевлены
одною общею надеждой:

воскреснуть грустною душой
на трудных перепутьях жизни
своей неласковой отчизны,
такой нескладной и большой.

Все вместе, возывая к Богу,
мы верим, что Он слышит нас
и нам в житейскую дорогу
укажет путь и посох даст.

Вы – матушка всего того,
на что мы все сейчасзираем,
едва коснувшись самым краем –
мы Вам желаем одного:

Чтобы не гнулся жизни ствол,
ни дух не гас, ни зоркость взора,
и чтоб божественный престол,
куда Ваш путь, предстал не скоро!

ЛУНА

Закончился обычный день,
в права вступает неизвестность:
все тише звуки, гуще тень,
все фантастичнее окрестность.

Когда, откуда, кто придет,
подвластный древнему напеву?
И, как курортник солнце ждет,
так жду я ночи королеву.

Не надо мне иных силков;
ликую я, когда высоко
горит над ватой облаков
ее недреманое око.

Сквозь сон я чувствую его;
мне так тепло под этим взглядом –
как будто друга своего
я ощущаю где-то рядом.

И словно чья-то доброта
подсказывает мне на ушко,
что лунным светом залита
моя измятая подушка.

Каких умений дар ей дан!
Сейчас – легко ласкает душу...
А где-то грозный океан
вслепую двинулся на сушу.

И эти миллионы тонн грозят
снести до основания
весь мир... А в небе – чистый тон
и непорочное сиянье.

Она как будто не при чем,
она скромна и не спесива...
Но тронет мир своим лучом –
и только ахнешь: как красиво!..

* * *

Коль ночью не дает уснуть тревога –
оденься, выйди, глянь: на небесах
бесчисленные знамения Бога
горят на отведенных им местах.

Они в своей неколебимой славе,
брильянтами в небесном серебре
горели так же и при Ярославе,
при всех Иванах и царе Петре.

Что им земные наши перемены,
метания ничтожных мотыльков?
Горят – и не теплы, и не надменны –
и до, и по скончании веков.

Не обозреть цветы небесных грядок,
но их Садовник знает точный счет.
Наш шарик тоже вписан в их порядок,
есть и ему свой номер и учет.

И у подножья боговых скрижалей,
обозревая вечности чертог,
почувствуешь ничтожество печалей,
сомнений и любых иных тревог.



Надежда СМИРНОВА

Поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Родилась в 1960 г. в Свердловске. С 2003 по 2008 г. обучалась в качестве вольнослушателя на семинаре поэзии и прозы (руководитель Ю.В. Казарин) при факультете литературного творчества Екатеринбургского театрального института. Работала педагогом дополнительного образования, редактором детской литературной газеты «Розовый слон». Публиковалась в литературных изданиях Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Ставрополя, Ульяновска, Новокузнецка, а также Испании. Была гостем Ульяновска, участвовала в Поэтическом турнире, организованном ульяновским отделением ВОС. Автор пяти поэтических сборников, повести «Стекляшки» и нескольких рассказов. За книгу «Как медленно я шла сама к себе», вошедшую в шорт-лист Всероссийской премии им. П.П. Бажова (2008), удостоена звания финалиста премии. Живет в Екатеринбурге.

«БОЖИЙ САД – МОЕ ОКНО...»

Новая книга Надежды Смирновой, по ощущению, из тех, что «пишут себя сами». И в каждом стихотворении, и в их так естественно возникающей последовательности автору важно не «создавать», не «выстраивать», но просто быть. Открыть (белую страницу) – побыть – проститься... Возможно, то же случится и с читателем. Строки диктуют обстоятельства и разно-масштабные события жизни – остается записать по возможности точно. Вся сверхзадача звучания и нашего понимания – вот в этом «записать»...

Природа переживания, порождающего эти стихи, трагична. Потеря близкого человека, обнажающая онтологическое одиночество, покинутость в этом мире, кроме того – раздумья о беге времени, поиск ответов на вечные вопросы. «Разговоры с Богом» (как момент особой тишины, замирания сердца), в той же мере – обращение к природе, каким-то повседневным подробностям. И малые подробности – говорят, когда в горе – живешь на грани: «и невозможно вернуться, / и невозможно вернуть». Когда «замерла душа-сестра», не подает голоса-совета, но она же – «бьется в груди, боится, / крылья сложу – умру...». Краски жизни в такой ситуации как бы приглушены, присыпаны пеплом, происходящее вокруг если и затрагивает, то – едва ли прорывая некий «кокон» отстраненности. В то же время немало в книге стихов удивительно благородного и благодарственного по отношению к окружающему миру звучания:

* * *

*Божий сад – мое окно;
подошли впритык морозы,
застывают ветра слезы,
на стекле – герань и розы,
хризантемы и мимозы,
лес и речки полотно.*

– в чем чудо милосердия? По-видимому, в небольшой степени поэта спасает сам язык, в том числе внутренняя речь, которая почти никогда не стихает, не



отдыхает, а то и напротив – дает ощутить миг, когда «становится время / пространством / и преобразуется в звук». Парадоксальное ощущение чуда – не то что на пустом месте, но, повторяю, во времени и пространстве, максимально удаленных от радости жизни в расхожем, бытовом понимании этих слов. Есть, наверное, у этой же самой жизни некий неприкосновенный запас, особая воля к чуду, вступающая иногда в резонанс с человеческой волей:

*и поднимается душа,
от внутренних дрожа вибраций,
туда, где можно не дышать
и не бояться.*

..Бояться ли читателю грустных стихов? Вряд ли стоит. Я верю, что книгу будут читать, в сочувствии что-то обретая, а не теряя; возможно, вдруг по-новому увидев свои собственные тревоги и надежды. Не для того ли хорошие стихи?

*Евгения Изварина,
поэт, член Союза писателей России*

Стихи из новой книги «Вода времени»

* * *

Время мое горчит
над пустотою сада.
Сколько его в ночи?
Сколько ни есть, а рада.

Сердце, еще стучи!
Мучай меня до упаду!
Время мое горчит...
Видимо, так и надо.

* * *

*Любови Ладейщиковой
и Юрию Конецкому*

Не защититься от старости,
вечности и судьбы.
Тысячи лет без усталости
делает время гробы.

Не пожалев, по обычаю,
не замедляя свой бег,
перышком крошечным, птичьим,
время смахнет нас всех.

* * *

Со стороны наветренной
день надвигается медленный,
небом дождливым беременный.
И, забывая о времени,
спишь и живешь по течению,
весь отдаешься чтению,
таинству восприятия,
согласия и непринятия,
страницы глазами жадно ешь,
пока еще жив и думаешь.

* * *

Ларисе Богдановой

И появляется ритм,
и нарастает звук, –
падает Божий рис
в стылую лодочку рук.

Веси над головой
помнят и правду, и ложь.
Станешь забвенья травой
и прорастешь.

* * *

Время меняет временно травы на снег,
счастье и радость жизни меняет на смерть
и затевает странную круговерть,
где в эпицентре рождается человек,

так и не научившийся время ценить
и быстротечность его не умеющий превозмочь,
не понимающий, как безжалостно рвется нить
жизни тончайшая. И жизни – невмочь.

И наступают новые времена,
новые правила, люди и корабли.
И прорастают времени семена
на бесконечных полях терпеливой Земли.

* * *

Усталый воздух сентября
качается на горькой нитке.
Я надыхалась им в избытке
несвоевременно и зря.

Он миллиардом острых бритв,
таких отточенных и тонких,
хрипящие изрезал бронхи.
И я не попадаю в ритм

стиха, дыхания, любви
и всей последующей жизни,
кусаю губы до крови
и слушаю, как сердце виснет.

* * *

Так и живешь, как в остроге,
мир – долговая тюрьма,
но от порога – дорога
в облачные терема,

где все живые у Бога,
стоит лишь умереть,
белого света так много,
что невозможно смотреть...

* * *

Спуститься за хлебом и воздух остывший вдохнуть,
и выдохнуть белое, теплое облачко слова,
на миг замереть над травой газонной, соловой,
опавшие листья носком сапога шевельнуть.

И долго смотреть, как деревья, черны и немые,
в мольбе многорукой притянуты к небу и Богу.
И вдруг осознать, что уже остается немного
до наступающей и неизбежной зимы.

* * *

Утром глянешь спозаранку, –
сколько снегу намело!
Перевернут наизнанку
мир сквозь белое стекло.

То ли ангелы, то ль птицы
чистят в небе свой наряд, –
из заоблачной светлицы
только перышки летят.

* * *

На Нижне-Исетском снег.
Редко какой человек
ходит сюда в декабре.
Справа – поэт Б. Р.,
слева, в низине – дочь.
Мне им ничем не помочь –
венчанные петлей,
съеденные землей...

* * *

Ксюше

Настояла на своем,
на калине, на рябине...
Унесенная огнем,
столько лет в небесной сини...

Но у жизни смерти нет,
даже если нас не будет.
Все вокруг – любовь и свет,
упование на чудо.

* * *

Пять лет ложиться в пять утра,
вставать часа через четыре,
бродить бесцельно по квартире,
а умирать – все не пора.

Глазами землю во дворе
прошоркать добела невольно
и убивать себя невольно
и в сентябре, и в декабре...

* * *

Боль моя ходит по кругу,
туго который год
связаны болью руки
и запечатан рот,

и запеленато время,
то, о котором грустишь.
Горько тебе дышит в темя
леса осипшая тишь.

Ни закричать, ни проснуться
и по ночам ни уснуть,
и невозможно вернуться,
и невозможно вернуть.

* * *

Ксюше

От любви до расставанья –
счастья водоем.
Замедляет расстоянья
снежный окоем,

разворачивает зренья
вглубь себя.
Приучаешься к смиренью
без тебя

и живешь, по Божьей воле,
столько лет.
И несешь, дрожа от боли,
свет.

* * *

Моей души рабочую тетрадь
судьба обременяет письменами,
событиями, именами,
которые не отобрать,

не изменить и ни в какой формат
не втиснуть, подчинив чужим примерам.

Она, трудясь, неверие на веру
меняет постепенно, как Фома.

Всевышнюю утратив благодать,
дарующую зрение – незрячей, –
безудержно и обреченно плачет,
осознавая грех и жизни ад,

не зная, сколько новых бед и дней
судьба в ее тетрадь еще запишет...

И только Тот, Кто мысли наши слышит,
и терпелив, и благосклонен к ней.

* * *

Божий сад – мое окно;
подошли впритык морозы,
застывают ветра слезы,
на стекле – герань и розы,
хризантемы и мимозы,
лес и речки полотно.

Черно-белое кино
прорисовывает память;
снег, хрустящий под ногами,
воротник пушистый мамин,
катится луны за нами
серебристое пятно...

* * *

Зимой сквозь душу снег идет,
растут деревья и травинки,
синицы, рыбы, апельсинки,
голубовато-синий лед...

А время трет ее и трет,
как пятку камешек в ботинке...

* * *

Юрию Казарину

Простора белого налей
в глаза до края
и пригуби его смелей
в проеме сумрачном дверей
избы (сарая).

Допей и воздух надкуси,
он малосольный
и пахнет, словно иваси.
Ну, все. Теперь дрова неси, –
с тебя довольно.

Кто пьян без водки на Руси,
тому – не больно.

* * *

Съездила в Чусовое, –
поговорила с Богом, –
надо совсем немного.
Все заросло травойю.

Так заросла бы память,
так заросло бы горе...
Ветер на косогоре
знает, что было с нами.

* * *

Какая скука, если есть река
и мир, который близнецом двоится,
где в зеркале плывут плотва и птицы,
дома и люди, лес и облака?

Какое одиночество, когда
наполнен воздух гомоном и свистом,
и у птенцов на чердаке тенистом
в достатке быстрокрылая еда?

Кого бояться мне порой ночной,
когда поют окно и половицы,
когда душа от брэнного томится
и ищет облик близкий и родной?

* * *

Ветрами выстудил июль
и сад, и дом, и жизнь, и сердце, –
от ледяных небесных пуль,
похоже, никуда не деться.

Бросает холод якоря –
температура нулевая.
Тревожная горит заря,
но никого не согревает.

И только чокнутый дергач
кричит нарочно каждый вечер
о том, как был июнь горяч
по нашим меркам человечим.

* * *

С тонкого запястья
дорогим браслетом
обронилось счастье,
потерялось где-то,

или в день ненастный
отворило двери...
И никто не властен
возвратить потерю.

* * *

Даму в Чусовом

Ночью проснешься – гроза –
молния, гром, –
треснули небеса.
Крепок ли дом?

Дочка припомнилась мне,
голоса звук
(ах, как надсадно во сне
кашляет внук).

Голос ее кружит, –
плач или стон,
что «умирать или жить
решится потом...».

* * *

Чувствую приближенье
зрения в левом боку, –
это души служенье
Господу и языку,

это немое слеженье,
как расступается тьма,
непротивленье сожженью,
это рыбалка ума,

ловля вслепую, до пота,
проблески и миражи,
это такая работа, –
перышко, тяжестью в жизнь.

* * *

А все запредельное – просто:
срастаются слово и боль,
в ночи придвигаются звезды,
в ушах нарастает прибой,

и вдруг, подчиняясь движенью
на ощупь, слепы и глухи,
выстраиваются предложенья,
спрессовываясь в стихи

литые, как крестик нательный,
обретшие цвет, звукоряд,
живущие жизнью отдельной.
И за себя говорят.

* * *

Ксюше

Ты всюду и нигде,
и я тебя не слышу,
когда лежи в воде
шевелишься и дыша,

когда пытаюсь жить
не опуская плечи,
и жизни виражи
желанны и беспечны.

И лишь во тьме ночи,
когда мой сон как волос,
настойчиво звучит
твой улетевающий голос...

Уже не осень, но и не зима, –
предчувствие, предвестие, предзимье,
сводящее настойчиво с ума
законченной утонченностью линий,

присоленной, остывшею землей,
уснувшей между выдохом и вдохом,
и мертвой головой чертополоха,
и сорною уральской коноплей.

От запахов по кругу голова,
еще чуток и сдвинусь понемногу.
Но, слава Богу, нужные слова
находятся. И слава Богу.

* * *

Время, где мы встречались,
где расставались мы
соткано из печали
и холодной зимы.

Не было или было?
Тьма это или свет?
Серой волной накрыло
Леты за столько лет...

* * *

Некровное родство –
избыточной родного, –
живое колдовство
словесного улова,

когда и слух, и речь
висят на нитке взгляда,
и ожиданье встреч
убийство и награда

тому, кто визави
пространства полостного
совсем не по крови
уже родней родного.

* * *

Рыба моя осторожная,
окунь да чебачок,
время пустопорожнее
ловится на крючок

в нашей уральской швейцарии,
в однообразии дней,
в огненно-красном зареве
на голубой глубине.

* * *

Изношено время года,
где ясность небес высока,
где перекисью водорода
отбелены облака,

где утро мычит и щебечет,
не дав отлежать бока,
где речка беспечной речью
приваживает рыбака,

где путь золотого Сварога
сияет и свет разлит,
где счастья и жизни так много,
что хочется всех наделить.

* * *

Крик вороний, треск сорочий,
воробьиное «чирик»...
День становится короче
на неуловимый миг.

Небо смотрит, сокрушаясь, –
ласточек как ластик стер
и по всей округе шаает
неизбежности костер.

В.

* * *

*Прибежали в избу дети.
Второных зовут отца...
А.С. Пушкин*

Шум машин промчится мимо
по-над прудом в тишине.
Обреченным пилигримом
лист кочует на волне.

Пробегут округой дети,
что за лето подросли:
– Папа, папа, наши сети
ничего не принесли!

Слава Богу, день осенний
не закончится бедой, –
пустяковым невезеньем
да пустой сковородой.

* * *

Если медленнее дышать –
наполняется тяжестью тело,
устремляется ввысь душа
и летит над простором белым

и над жизненной рекой,
оставляя желанья и чувства,
чтоб однажды, найдя покой,
не вернуться.

* * *

И адрес пуст, и воздух слеп,
и остановлено дыханье,
когда ты, покидая склеп
привычный, думаешь стихами,

и поднимается душа,
от внутренних дрожа вибраций,
туда, где можно не дышать
и не бояться.

* * *

Колотые дрова
складываю в сарай;
как же горбат горбыль
и тяжелы поленья,
колют язык слова,
ранит руки кора,
снежная сеется пыль,
зренья касаясь треньем.

Зимняя эта былль
благословляет смиреньем.

* * *

Серый день опустит плечи,
покорится зову тьмы,
все село затопит печи,
ввысь потянутся дымы.

Скоротают вечер двое,
лягут в стылую постель.
Ночью запоет, завоюет
белолицая метель.

Непонятная загадка
без решения и дна:
спит один легко и сладко,
а другой лежит без сна,

ветра слушает гармошку,
теребя беды кудель.
А в окно стучит ладошкой
белоглазая метель.

* * *

Ксюше

Ты прилетаешь по ночам,
когда меня не добудиться,
тихонько гладишь по плечам,
несмело дуешь на ресницы,

не укоряя, не виня,
сама готова повиниться...
Прощай же! И прости меня,
моя обугленная птица...

* * *

Она мертва. И нет ее
ни тут, ни там, нигде.
А снег летит и дождь идет
у Бога в бороде.

Озера выплаканных слез,
шипы пурпурных роз
лежат в траве у самых ног.
И плачет, плачет Бог.

Печали точится игла,
тоски сгустилась мгла:
Какая девочка была!
Какая девочка была!
Какая девочка была!
А я не сберегла...

* * *

Ксюше

Превращаю жизни прозу
в свет, в поэзию, в любовь,
но не вытащить занозу,
не унять печаль и кровь,

сколько в этой круговерти
не живи, до слез любя...
Видно, мне до самой смерти
в каждом сне искать тебя.

* * *

О, душа, ты – собака сторожевая,
караулишь бессменно и память, и грусть.
Ты-то знаешь, как я, умерев, выживаю
и из тьмы снова к свету тянусь.

* * *

Когда со светом – не светлей, –
во тьме одно лишь сердце зряче.
Душа, сгорая до углей,
не сдерживается от плача,

уходит в дальние края,
где все любимые живые.
И тьмы мохнатые края
висят, как тучи дождевые.

И, проиграв свою войну,
по именам всех называя,
все ищет девочку одну
едва живая.

* * *

В потоке вечном бытия,
сквозь согнутые поколения,
уложенные, как поленья,
каким-то высшим повеленьем,
летит шальная жизнь моя
в цветастом хороводе дней,
среди молвы и пересудов,
и все, что происходит с ней,
и все, что было, есть и будет –
подаренное Небом чудо,
любовь Творца к душе моей.

* * *

Слышишь, молчит вода
времени твоего:
Кто ты? Зачем? Куда?
Надо тебе чего?

Хватит ли света души
тем, кто сегодня с ней? –
медленная, кружит
в водовороте дней...

* * *

Время, несущее службу, –
вечный палач.
Сердце, не в службу, а в дружбу
больше не плачь!

Больше не жди у причала
жизни иной,
вспомни, как песня звучала
доли земной.

Слушай траву и животных,
ласточек смех,
пусть это вовсе не модно,
ты – не как все.

Время в конце и в начале –
света кольцо.
Радуйся, всем печалям
глядя в лицо.



РЕКА
ВОСПОМИНАНИЙ

Ольга ДАРАНОВА, ученый секретарь Областной научной библиотеки им. Ленина, автор сборника стихов и рассказов «Флейта осени» (Ульяновск, «Корпорация технологий продвижения», 2018).



НАСТИНА СТЕЖКА

рассказ-воспоминание

*Памяти моей бабушки
Анастасии Александровны Губановой*

Свадьбу играли шумно, по-деревенски, всей улицей, со всей родней и соседями. Ведь, бывало, и соседи были как родня. А в Кременках полдеревни жило с одной фамилией, полдеревни – с другой. Испокон веку рождались, вырастали, влюблялись, женились – и прорастали друг в друга многочисленными родственными корнями. Так вот и получалось, что вся деревня – родня.

Счастливая невеста сидела рядом с суженым. Богатырь, что и говорить. Сильный, косая сажень в плечах и лицом приятный. В кулачном бою равных не знал, за обедом ставь ему плошку самую большую, обычная тарелка для него – детская забава. Чарку выпивал, не закусывая и не пьянея, а нрав имел буйный, крутой. В осанке – царская статья, да и имя носил царское – Алексей Романович.

Настя так и звала его всю жизнь – по имени-отчеству. Не звала, а величала.

...Звонко катилась свадьба, солнце садилось за реку, близился день к закату. Настя выбежала в сад, вдохнула всей грудью теплый весенний вечерний воздух, обвила рукой яблоню и замерла от счастья, закрыв глаза. Вот так бы и прожить всю жизнь – счастливо, рядом с любимым и в белом цветущем саду... Она и сама была как та яблоня – стройная, высокая, в талии пальцами одной руки обхватишь. И резвая была, быстрая, все куда-то спешила, словно опоздать боялась.

В тридцать третьем на Николу зимнего родился первенец Николай. Черный, как смоль, – в Настю.

Из Кременок в Ульяновск Настя с семьей уехали перед войной. Поселились на Тутях – так называлась слобода внутри города. История слободы давняя, с семнадцатого века, когда царь Алексей Михайлович повелел заложить здесь тутовый сад. Хотелось ему вырастить белую шелковицу и наладить производство шелка. Только недолго просуществовал сад, вымерз. Позднее, уже в другом веке, на месте сада стали отводить земельные участки инвалидам войн и солдатам, так возникла слобода, которая в память о тутовых садах стала называться Туть.

...Дом купили на две семьи с родней, большой, угловой, на пересечении Транспортной и Герцена. Обустроились, хозяйство завели, лошадь была, скотина. Да и то сказать – работали не покладая рук, свивали свое гнездо. Алексей был немногословным, но в работе неутомимым, как говорили, злым до работы был. И Настя всегда была ему подмогой, поддержкой, и что ни делала – все с песней, все с присказкой. А любимой была у нее песня «Белым снегом», часто она ее пела – и в печали и в радости.

...Белым снегом, белым снегом
Ночь туманная ту стезю замела,
По которой, по которой
Я с тобой, любимый, рядышком прошла...

В сорок первом Алексей ушел на фронт. Ушел вместе с любимым конем Орликом, норовистым и кусачим, с белой отметиной на лбу, не признававшим никого, кроме своего хозяина. Не зря хозяин прятал его в лесу, когда пришли раскулачивать. Сберег коня и с ним, как с верным товарищем, ушел на войну.

А уже в сорок втором Настя получила известие о муже – пропал без вести. Тогда многим такие вести приходили. Оборвалось что-то внутри, надломилось, но Настя ждала. Да и детей надо было поднимать, двое их уже было – Колька, старший, и Юрка, младший.

В сорок пятом, майским утром к ней в дом пришел человек в солдатской шинели, с вещмешком за плечами и рассказал, как все было на самом деле. Их часть попала в окружение под городом Калачем на западной Украине. Они с Алексеем оказались в плену у немцев, попали в концлагерь. Алексей дважды пытался бежать, его дважды настигали и возвращали. На третий раз беглеца растерзали собаки.

Услышав это, обхватила Настя руками портрет своего Алексея Романовича, висевший над кроватью, и завывала.

Вдовой она осталась в тридцать два года. Замуж больше не вышла.

Огород на Чувиче

Жила Настя вдвоем со старенькой матерью, Варварой Ивановной. Мы, внуки, да и многие в округе звали ее не иначе как Баба Старенькая. В отличие от стремительной, порывистой Насти, Баба Старенькая была спокойной, сдержанной. Немногословная, она была духовным остоном дома, гарантом его покоя. Люди говорили, что на таких, как Ивановна, мир держится.

Послевоенные годы голодные были. Спасал Чувич – благословенная земля! Там, где сейчас моторный завод, вниз по волжскому склону были огороды. Прежняя Волга была не такая широкая, как сейчас, на ней были многочисленные острова и озера в прибрежных местах. Огороды эти кормили людей. Настя с матерью сажали картошку, тыквы, помидоры. Земля была жирная, плодородная, и картошка вырастала ароматная, крахмалистая, вкусная. Такую ели без хлеба и не могли насытиться.

Лето в те годы было другое, настоящее. Жара стояла долго, солнце палило нещадно, под ногами песок раскаленный... По такому не пройдешь, надо только бегом бежать. И бегали! И стар, и млад... Ребяшня бегала на берег за диким луком, купалась, вода была теплая, как парное молоко, мальчишки ловили в реке майками мелкую рыбешку. Воздух был густо настоян на травах и цветах, вдоль тропки вились бело-розовые вьюнки или, как еще их называли, «кашка». Стрекотали цикады, иногда на сухих местах, вокруг пеньков, мелькали мелкие ящерики. Росло все буйно! Трава была в рост человека, жирная, изумрудная. А какие были грозы! Частые, сильные. Сверкнет молния, расколется небо от громовых ударов, и прольется спасительный ливень стеной. Дождю люди были рады. После знойного дня приятно было освежиться прохладными струями. Вот только парусиновые тапочки у девочек намокали, ведь вечером они на танцы бегали, а если тапочки просохнуть не успевали, так и бежали в хлюпающих.

Когда урожай поспевал, Настя с матерью ходили на огород вечером на закате. Носить урожай было тяжело, хорошо тем, кто побогаче, у них была лошадь с подводой. Нагрузят и везут. А те, кто победнее, шли пешком под вечер, вереницей выползая из-под горы. Словно два маячка светились в низком закатном, небе два платка на голове – белый, Бабы Старенькой и пестрый, яркий – Настин. Соседские дети канючили, держа в руках по тяжелой желтой тыкве, ждали привала. А родители кивали им на двух нагруженных женщин, медленно поднимающихся из-под горы: «Вон Баба Старенькая целый день трудилась, ей, поди, тяжелее, чем вам, а она ничего, идет себе спокойно».

Жили-были

«Слышишь, Настя поет!» – говорили люди на деревне. Над тихой деревенской улицей звенел на закате высокий чистый женский голос, то стихая, то усиливаясь, и растворялся в вечерней синеве. Да, петь Настя любила и умела. И песен много знала – старинных, протяжных, печальных. «Ты, цыганка, молодая ворожейка...», «Потеряла я колючку, потеряла я любовь...». Пела, поглядывая на фотографию своего Алексея Романовича, висевшую в изголовье кровати, и слезы невольно сами собой текли по щекам. О чем

думалось тебе, Настя? Какую боль-тоску хотела ты излить в песне? Не узнать теперь. И песни сейчас такие не поют и не помнят.

Здоровьем Настя была крепкая, работала за всю жизнь свою много, чаще всего одновременно в трех-четырёх местах. Пришлось ей не только женскую, но и мужскую работу на себя взять. Чего стоило только на угольном складе при паровозном депо день и ночь горбатиться, работа грубая, мужская, тяжелая. Мыла вагоны, работала в пескосушилке. Подкатывали мужички, что и говорить, но, бывало, полоснет Настя взглядом, как ножом острым. А особенно приставучих могла и резким словом осадить. А ведь молодая была, могла бы и судьбу свою женскую устроить. Свагалась машинист, но отказала. Стыдно как-то считалось в то время о себе думать, да и мальчишек надо было поднимать. И своему Алексею Романовичу верна была, не отпускал его образ в душе, не видела Настя равных ему.

...Странно, но она до старости не была седой. Редкие пряди серебрили ее густые тяжелые черные волосы, собранные сзади в узел. Только половину лица часто закрывала ладонью – сказалась тяжелая жизнь, и ее красивое лицо часто портила нервная судорога.

В то время был у них на двоих с матерью крохотный шлакоблочный домик, пристроенный на задах у соседей, да небольшой садик при доме. Два окошка прямо в сад выходили...

Лет мне было тогда совсем мало, но, кажется, жизнь целую мы ходили проторенной тропой в этот домик. И жарким летом, глотая пыль из-под сандалий, и морозными зимами, радуясь хрустевшему под ногой снегу.

Когда в последний переулочек сворачивали, выходили на родную улицу, издалека видели женскую фигуру, смотрящую из-под ладони на встречающих. Она, Настя, всегда так стояла, поджидая своих гостей, или торопливо навстречу шла.

Придем, а в домике у нее тепло, уютно, чисто. Обои всегда свежие, она их часто переклеивала, пол в пять половиц свежей краской выкрашен. В печке щи наваристые, молоко топленое с пенкой. Домом пахло! По праздникам – пироги обязательно. А уж к Пасхе как хлопотала!.. Последнюю перед Христовым воскресением ночь не спала, службу стояла в церкви, но все она, Настя, успевала: и домик прибрать, и пирогов напечь.

...Какой я тебя помню, Настя? Разной. Веселой, грустной, но всегда стремительной, куда-то спешащей, кому-то необходимой. Статью и лицом не обидел Бог, а вот доля выпала...

Помню поздний морозный вечер. За окошком снег лежит высокими сугробами, гаснут последние огоньки в домах, засыпает вся округа. Я лежу на большой бабушкиной кровати, утопаю в высокой перине, я еще не сплю, мне тепло и уютно, в печке потрескивают дрова. Я жду бабушку. Вот послышался знакомый стук щеколды на входной калитке и торопливые шаги по скрипучему снегу. Я уже знаю, что это бабушка идет. Идет домой с тяжелой, многочасовой, совсем не женской работы. Через несколько секунд в комнату входит женщина, замерзшая, уставшая, в мужском ватнике и брюках, в шали, края которой покрыты инеем, с трудом снимает валенки, стягивает рука-

вицы и буквально стекает вдоль стены на пол... Баба Старенькая суетится, помогает ей раздеться, подает заранее согретую воду, чтобы помыться, вынимает из печки горячий котелок. Они ужинают, о чем-то в зрелом приглушенно говорят, потом собирают со стола посуду. Перед тем, как лечь, Настя долго молится. Она смотрит на икону Спасителя в переднем углу, истово шепчет молитвы, крестится, кладет низкие поклоны. Мне, маленькой, кажется, что она рассказывает Богу весь свой трудный день, всю свою жизнь, всю свою затаенную боль. Помолвившись, она смотрит в другую сторону, на портрет своего Алексея и, вздохнув, ложится рядом со мной на кровать, на спину, закидывает руки за голову и почти мгновенно засыпает. Засыпаю и я с чувством покоя и защищенности от всех зол и бед на свете.

В ее маленьком доме всегда была чистота. Стирала Настя часто, а полоскать белье ходила на речку. Даже зимой полоскала в проруби, а пока до дому доходила, на белье налипали сосульки. Вывешивала его в саду на веревке, за ночь белье промерзло, а утром она вносила в дом эти затвердевшие, словно доски, простыни, и вся комната наполнялась морозной свежестью. Царицей горницы была кровать. Высокая, перину взбивали, как облако, покрывало белоснежное натянута по струнке, ни одного залома на нем. Подушек – гора, от мала до велика, на них накидушки крахмальные, кружевные. Садиться, даже прислоняться к такой кровати запрещалось! Разве что один раз разрешено было.

Мама рассказывала, как меня, годовалую, в день рождения, Настя торжественно посадила на кровать, на высокую подушку, чтобы все любовались ее внучкой. На мне было белое платьице, мелкие кудряшки схвачены бантом. Младший бабушкин сын Юрий, мой дядя, сел перед кроватью и воскликнул: «Мама, посмотри, какая она у нас красивая!». А Настя стояла за его спиной, и глаза ее блестели от счастья.

И гостей Настя любила. Любила их встречать, не знала, куда лучше посадить, чем угостить повкуснее. Летала Настя по своей крохотной избенке взад-вперед, хлопоча по хозяйству. На столе быстро появлялись голубцы, разносолы из погреба. Жила она всегда «с запасом». Чай ароматный припрятет, консервы в магазине дадут за то, что халаты продавцам стирала. А ко всем праздникам пекла пироги – с капустой, с рыбой, сладкие с малиной и яблоками. Они лежали большими, теплыми, душистыми пластинами на белой скатерти, укрытые полотенцами – «отпыхивали».

Помню платья твои, Настя. Любила ты наряжаться. Ох, как любила!.. Если заводилась копеечка, покупала отрез и бежала к Маше, знакомой портнихе. Вместе они мудрили над фасоном... В старом шифоньере со скрипучими дверцами хранилось твое женское, пахнущее духами, богатство. На старой фотографии ты в зеленом шерстяном, с фигурным вырезом, а было еще и черное цветное из крепдешина, синее шелковое... Синее до сих пор у меня хранится, достаю и вспоминаю, как стоишь ты перед зеркалом, статная, черноволосая. Густые волосы убраны сзади «валиком», туфли со шнурочками, высокие, облегающие щиколотку по моде того времени. Мама помнит еще серую твою юбку-карандаш и в тон серую с розовыми цветочками блузку. На комодке стоял популярный в то

время одекolon «Кара-Нова» в граненом флаконе.

Так текли дни. Праздников в них было меньше, больше суровых будней. Рано утром Баба Старенькая неторопливо приносила на коромысле два ведра с водой, ставила в сених, резала и сушила яблоки на зиму. А Настя, поднявшись спозаранку, бежала топить котел в магазине, помочь разгрузить товар, забрать в стирку халаты. Возвращалась, чтобы прибрать в доме, приготовить обед. Чуть отдохнет, а там сложит гостинцы и, перекинув наперевес сумку, побежит навестить сына с внучкой.

* * *

Какая сила жизни, выносливость была у наших бабушек! Боль физическая переносилась ими молча, отстраненно от всех, чтобы не беспокоить близких. Залыгут в своем медвежьем углу и зализывают раны, как медведицы, прикладывая какие-то примочки, лопухи к распухшим ногам, мажут пахучими мазями, чай из трав пьют. Ни лишних слов, ни жалоб, только услышишь иногда все говорящий тяжкий вздох да слова, обращенные к Богу.

Боль душевная также делала их сильнее. Начиная от потери мужей, каждого в свою войну, от голода, смертей близких, тяжелой физической работы, одиночества женского. Что давало им силы? Земля родная, плодоносящая, животворная. И еще вера, Спаситель. Стоят они по вечерам перед ликом Спасителя, как свечки, кладут поклоны до земли, доверяют Господу одному свои самые сокровенные мысли, страдания телесные и душевные. И учатся у него терпению. И дает Господь им силы преодоления – боли, сомнений, тоски.

«Юрка приехал!»

Сыновья у Насти лицом и статью удались. Таких женщины любят, и они их любили. Старший, Николай, – смуглый, волосы черные, волнистые. Рубашка белая ему очень шла, светилась в ночи, когда со свиданья возвращался. Петь не умел, молчаливым был, суровым даже. Но мог и вспылить, и подрагаться. Когда закончил семилетку, хотел на машиниста пойти учиться. Остановила Настя. «Машинисты всегда в дороге, в дали от дома, еда всухомятку. А ты, Колька, с твоим здоровьем долго не протянешь, больше сорока не проживешь... Да и помощника в доме нет. Шел бы ты на завод...». Колька послушался, пошел на завод, да всю жизнь на нем и проработал. До семидесяти дожил.

А Юрку, младшего, баловали. По молодости, когда пришла пора жениться, на танцы бегать, и бостоновый костюм ему справили, и ботинки Баба Старенькая чистила яростнее, чем самовар. В отличие от сдержанного, молчаливого Николая, Юрий был улыбочивый, распахнутый всему миру. Но и задиристый, горячий. Не раз в переделку попадал. Женщины его любили, и сам он до них охочий был. Настя всегда очень ждала его приезда. Незадолго до приезда придет к ней, а она избенку свою белит, потолок, печку. Лицо мелом испачкано, летят белые брызги с потолка ей в лицо. А она смеется, поет, соскакивает со стула на пол, быстрая, легкая... Платок на голове по-татарски завязан. Соседки-татарки в округе за свою ее принимали. Слов татарских много знала...

Да, ждала и радовалась, когда приезжал сын на побывку из Ейского летного училища, ждала, когда приезжал с Дальнего Востока, с места службы. Ждала

как праздник... О его приезде знала вся Туть. «Юрка приехал!» – слышалось тут и там в разных концах деревенской улицы. «Юрка приехал!» – перешептывались молодые женщины, его бывшие подружки, вздыхая тайно от своих мужей. Настя бежала встречать его на вокзал, шла рядом с сыном по родным Тутям, заглядывая ему в глаза, гордо поглядывая на соседей, и вся светила от счастья.

Молодой, русоволосый, красивый, в летной форме, Юрка улыбался и здоровался со всей округой. С одним остановится, поговорит, с другим прикурит. Успевал и жарко приобнять мимоходом красивую молодку. Волосы у него были светлые, волнистые, как у Есенина. И действительно, обликом он был похож на поэта. И стихи Есенина очень любил, знал их, песни пел. Голос у него был приятный, слух хороший, и песня любимая была – «Не жалею, не зову, не плачу...».

Ее-то и пел он, когда в очередной раз приехал в родительский дом, один, расставшись со своей дорогой Альбиной, красавицей-женой, которую очень любил.

Ее пел на вокзале в ожидании поезда, уносившего его навсегда из родного дома на Дальний Восток, где и затерялась его стежка. А Настя все ждала и гнала от себя нехорошие мысли. Да только вспоминались ей неотступно строки есенинские, которые читал ей Юрка перед отъездом:

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Может, как у поэта, и случилось.

Ее сад

Главной страстью ее жизни был сад. Родина Насти, Кременки, всегда славились садами, яблоками, там и люди-то были, словно соком яблочным налитые. А свой садик, маленький, прямо под окнами, она сама рассадил.

Помню теплый август. Под раскидистыми яблонями – тень. Яблоки отражаются в кадках с водой, стоящих посередине сада. Гладь воды чуть дрожит, на ней трепещут сорвавшиеся листочки. Я сижу, оперевшись спиной о шероховатый ствол дерева, вижу, как блестит паутина на ветках крыжовника. С листка на листок, подрагивая, переползают блики солнца. На солнце еще жарко, но прохладно в тени. Пахнет укропом, мятой. Упавшее с ветки яблочко с помятым бочком лежит на теплой земле. Рядом сваленные в кучу обрезанные сухие ветки яблони. А вот груша не уродилась, бабушка говорит, что «груша ныне отдыхает». Помню ее, присевшую на маленький детский стульчик, рядом лежат брошенные садовые ножницы. Она шелушит чеснок, обрезает его длинные стебли. Над ее головой склонилась ветка вишни, на листочке которой заснула божья коровка. «Божья коровка, улети на небко, там твои детки кушают конфетки...» – почему-то вспоминаются детские стишки. Настя берет в руки комок теплой, рыхлой земли, перемалывает ее в руках, стряхивает... По саду медленно ходит Баба Старенькая, ее черная длинная пышная юбка колыхается между грядок, помидорной и картофельной ботвы. Иногда она останавливается, складывает руки на груди, смотрит куда-то в сторону, а кажется, что в себя,

о чем-то задумывается, ее губы шевелятся, дрожат. Перехватив взгляд правнучки, улыбается и двигается дальше. Подходит к кустам малины, собирает ягоды в стакан, что-то тихо бормочет. Прислушиваюсь и понимаю, что это она ворчит на моего двоюродного брата Гарьку, сына Юрия. «Вот шалапутный, все ягоды обобрал, Ольке ничего не оставил...». Но ягодка все же набирается, и будет Ольке сладкий пирожок.

Помню запахи и звуки лета... Жарко. Маленькое оконце открыто в сад, легкий ветерок колышет вышитую гладью шторку. Дверь в сени открыта, там прохладно, сумрачно, на стенах висят сухие пучки травы. Баба Старенькая дремлет на узкой завалинке. В саду звонно от мошкары, после дождя пахнет помидорной ботвой. Настя выносит в сад складной столик, мы пьем чай со смородиновым листом. Рядом вытянув лапы, устраивается соседский пес Агат. С речки доносится звук моторки и еще много каких-то неясных, нечетких звуков, из которых состоит мое детство, теплый мирный летний день в родном углу.

И все это домашнее пространство ширится, движется дальше, за калитку, возле которой растет старый развесистый карагач, плывет вниз по крутому склону горы к Свяиге. Она здесь узкая, живописная. До другого берега рукой подать, голоса оттуда можно различить. Вода в Свяиге кажется плотной, густой, дно илистое, иногда мелькают мелкие рыбешки. Весь берег в ракушках. У берега вросла в песок деревянная рыбацкая лодка, наполовину утопленная, так что сесть можно только на одну перекладину и на нос. Пахнет тиной, ветлы склоняются низко, полощут ветви в воде, образуя прибрежный грот, в котором прохлада и тень.

Последняя стежка

В конце 70-х вышло постановление правительства – солдатским вдовам, женам пропавших без вести, не вернувшихся с войны улучшить жилищные условия. Сносились старые деревянные домишки, взамен люди получали новые квартиры. И Насте с матерью по закону полагалась отдельная однокомнатная квартира.

Родные уговаривали Настю согласиться. «Квартира светлая, этаж хороший, лифт. Ведь силы уже не те, а там и ванна, и газ, и все удобства... И мы все рядом».

«Да как же я дом-то свой оставлю? – растерянно говорила Настя. – У меня тут и погребница, и сад мой здесь, и Свяига... Ведь родное же все... Яблони нынче как цвели! Нет, никуда я не поеду».

И все-таки уговорили ее родные. Как лучше хотели, наверное. Переехала Настя с матерью в новую квартиру – светлую, на солнечную сторону, этаж четвертый, ремонт хороший, все новенькое. Перевезли ей незатейливую мебелишку, помогли все расставить. Живи, Настя... Да только не заладилось...

Баба Старенькая к тому времени слепнуть стала, почти ничего не видела. В старом-то доме она ощупью передвигалась, все под рукой было, все знала, где что стоит и лежит. Родное было все. А здесь кружила старушка по комнате, не понимая, где она. Где ее родной уголок, сени, завалинка, скамейка, на которой она сидела вечерами? Где родной дом и сад? Где яблони? Ничего не видела старуха, не слышала родных сердцу звуков, ни кочета на заре, ни привычного лая соседского пса, ни кудахтанья кур... Слезы тихо

струились по ее испещренному морщинами лицу. Все глухо, мертво было вокруг. Умерли все звуки и запахи родные. Замерла жизнь, остановилась, как в одно серое утро и сердце старушки.

...Когда разорвали родное гнездо, стояла Настя, обхватив рукой старый карагач, и боялась, что сердце выскочит из груди. Вспомнила, когда еще такое испытывала – разве что когда узнала о гибели Алексея.

Казалось, что железная лапа ковша бульдозера вгрызается не в стену ее дома, а прямо в ее сердце, стараясь вырвать его и раздавить вместе с родным гнездом. Вся жизнь промелькнула в ее мозгу в один миг, кровь пульсировала в висках, ноги подкашивались. Здесь, в этом доме, росли ее дети, сюда они привели своих будущих жен... Здесь смеялись и болели ее внуки, которых она отпаивала малиновым чаем... А вот эту вишню-«космынку» она привезла еще молодой из родных Кременок. Сладкие были ягоды на ней и темные, как маслины! И каждую яблоньку выбирала и сажала сама. Вот та – анис, а эта – папировка, а рядом с крыльцом – грушевка московская...

Старый карагач старался передать ей свое тепло, заслонить ветвями, истошно лаял пес Агат, соседки смахивали слезы концом платка. А бульдозер ревел и елозил на маленьком родном клочке земли, сминая, как скорлупку, дом, ломая, круша все до последней щепочки. Так положено было. По закону. Сравнять с землей, чтобы ничего не осталось...

Вдруг среди камней, щебенки и обломков битого стекла что-то блеснуло. Настя еще не разглядев, догадалась, поняла сердцем, что это было – фотография ее Алексея, которую в спешном переезде куда-то затеряли... С криком бросилась Настя под гусеницы трактора. «Куда ты! Вот дура-баба!» – заорал на нее мужик из кабины. Прижала Настя к груди смятую фотокарточку мужа в обломках стекла и упала без чувств.

С той поры другая стала Настя. Вроде жила и не жила, вроде и дела делала, да все как-то механически. На новом месте с соседками сошлась быстро, подружилась. Но улыбаться перестала. Потухла. И песни петь перестала. И вроде как заговариваться начала. Соседкам часто говорила: «Домой мне надо, домой...».

К родному дому однажды выюжным вечером и увела ее последняя стежка. Простоволосая, босая, в одной рубашке, вышла она в февральскую метель, и та завихрилась и поглотила ее. Настя, Настя... Куда лежала твоя стежка, кто вызвал тебя в эту непогоду, куда влекло тебя твое сердечко? Ничего не слышала, не чувствовала Настя, летела вместе с колючим ветром в леденящую даль, только сердце стучало: «Домой, домой, там он остался, домик мой, за полосой этой снежной. Там сад мой яблоневый, белый, в цвету весь... Туда, туда, к родному порогу...».

Ее, замерзшую, едва дышащую, легкую, как пушинку, принес домой на руках молодой парень, сосед. «Это что за Зоя Космодемьянская тут у вас по снегу бегает?» – нимало не смутившись, громко сказал он, едва переступив порог. Настю завернули в теплое одеяло, как ребенка, отогрели, отпоили горячим чаем. Ночью в жару горела, болела долго. Но обошлось, поправилась.

Только с тех пор Настя замолчала. Словно на все замки закрылась изнутри. И до самой смерти не сказала больше ни единого слова.

...На кладбище безлюдно, после короткого летнего дождя земля мягкая, теплая, хорошо рыхлится. Березка белая, высокая на их могиле – Насти и Николая. Вместе они тут. Ветви березы склоняются низко почти до памятника. На фотографии Настя улыбается, смотрит с легким прищуром. А когда фотографировалась, сережку одну потеряла. Видно, торопилась, как всегда, куда-то и не заметила. Так и снялась с одной сережкой... Рядом Николай, молодой, красивый, не измученный долгой болезнью.

Все забрала с собой ты, Настя: домик родной, старый карагач на косогоре, лето знойное, зиму крутую, русскую, с сугробами до бровей, родную Свягу, образ любимого своего Алексея Романовича. Все унесла в иные пределы, в белый цветущий сад, куда увела тебя твоя последняя стежка.

Белым снегом, белым снегом
Ночь туманная ту стежку замела,
По которой, по которой
Я с тобой, любимый, рядышком прошла...

ЧТО ХРАНИТ ПАМЯТЬ...

Творческий вечер и презентация книги Ольги Дарановой «Флейта осени»

28 апреля 2018 года во Дворце книги состоялся творческий вечер и презентация книги Ольги Дарановой «Флейта осени».

В книгу вошли стихи и малая проза разных лет. Объединяет одно – сам автор, его отношение к миру, к родным и близким, к тому, что дорого, что сохранила память.

Опираясь на личные впечатления, автор сделала попытку передать колорит эпохи, приметы времени, в котором жили наши родители и живут современники. Вечер был посвящен памяти родных и близких, воспоминаниям о детстве, школьных и университетских годах, о годах работы в Ульяновской областной научной библиотеке. В авторском исполнении прозвучали стихи и фрагменты прозы из книги.

«Название сборника «Флейта осени» не случайно. Считается, что флейта – музыкальный инструмент, звучание которого может приближаться к звуку человеческого голоса. И диапазон звучания флейты очень широк – от низкого, холодного, металлического до притягательно мелодичного, грустного. Звучание флейты – словно нить из прошлого в настоящее, что соответствует замыслу написанного. А осень – удивительное время года, творческое, время Пушкина, время осмысления сущности бытия, мудрости что ли... Это не только время года, а, скорее, состояние души», – размышляет автор.

Один из разделов книги назван «Картина дней». Стихи в нем изначально берут свое начало в природе. Но любое время года, любое состояние природы вызывает отклик, созвучие, выстраивает ассоциативные отношения человека и мира.

На вечере прозвучали и ненаписанные страницы книги. Об университете, родной библиотеке, которой в этом году исполнилось 170 лет.

«Слово «венец» я услышала впервые еще в раннем детстве, лет в шесть, когда приходила в гости к бабушке, которая жила в центре города, на улице Карла Маркса. Бабушка с соседкой, в строгих платьях с белыми воротничками, с ридикюлем в руках, ходили гулять на Венец. Это было место, которым дорожили... Тогда я еще не знала, что вся моя



жизнь будет связана с этим замечательным местом нашего города, сначала с университетом (в то время еще пединститутом), позже – с Дворцом книги. Я застала еще Петра Сергеевича Бейсова, ходила в его литературный кружок в институте, мы читали стихи и даже выступали на городских праздниках. Иван Дмитриевич Хмарский, Светлана Романовна Шустова, Оксана Васильевна Шавкунова, Лидия Георгиевна Шахова, Игорь Николаевич Полосухин, Герман Федорович Павликов, Евгения

Петровна Гиматова, Майя Павловна Чередникова, Элеонора Ильинична Денисова – золотые имена нашей родной alma-mater, мои институтские преподаватели, наставники, которыми я горжусь».

И, конечно, одна из будущих страниц книги – о родной библиотеке, куда Ольга Даранова пришла в июне 1980 года. Пришла и осталась навсегда.

Ольга Николаевна с волнением и любовью рассказывает о родном Дворце: «Мне часто задают вопрос, не было ли желания за все эти годы поменять место работы, были ли приглашения... Конечно, были. И не раз. И попытки поменять работу были. Но что-то всегда удерживало. Теперь знаю, что. Прежде всего, место, Дух места, Гений места. Здесь живут тени наших предков, прославленных симбирян. Поднимаешься по Дворцовой, идешь Карамзинским сквером, любишься Волгой... Зимой сияет ослепительный снег, мороз бодрит, осенью тихо шуршит желтый лист под ногой, весной – солнечный май радуется яркой зеленью и сиренюю... Эмоции переполняют душу: это – мое, мой город, мой сквер. И еще, конечно, любимая работа. Помню солнечные блики на полу, раскрытое окно отдела абонемента, за которым росли кусты ежевики, тихий шелест книжных страниц, склоненные над книгой головы читателей, библиотекари на рабочих местах, просматривающие свежую периодику. Так начиналось утро в библиотеке... И главным в нашей жизни был читатель. И мы обязаны

были ему служить верой и правдой. Что мы и делали и продолжаем делать».

И каждый день изящною камеей
Из прошлого сияет невозвратно,
И боль ушедшая за давностью скудеет,
И радость прошлая оправдана стократно.

Вечере приняли участие: заслуженный работник культуры России Тамара Кулябина (вокал), педагоги ДШИ № 4 Маргарита Подымова и Ирина Филаретова (фортепиано, декламация), Алексей Жданов (гитара), коллеги, родные, друзья.

Прозвучали песни и романсы «Белым снегом», «Белой акации гроздь душистые», «Не уезжай ты, мой голубчик», вальсы «На сопках Маньчжурии», «Амурские волны», «Прощайте, скалистые горы», музыка разных лет. С выходом книги автора поздравили и поделились впечатлениями поэтесса Елена Кувшинникова, Александр Лайков, Елена Яговкина, писатели Ольга Шейпак и Илья Таранов, заслуженный художник России Борис Склярчук, почетный архитектор России, художник, поэт Лев Нецветаев, художник Татьяна Горшунова, историк Елена Беспалова, руководитель мордовской автономии Владимир Сафонов, директор Дворца книги Светлана Нагаткина, коллеги по работе Валентина Патуткина, Наталья Вольская, Галина Зиновьева и другие.

Наша справка:

Ольга Николаевна Даранова родилась и живет в Ульяновске. Окончила Ульяновский государственный педагогический институт имени И.Н. Ульянова, историко-филологический факультет. С 1980 года работает в Ульяновской областной научной библиотеке имени В.И. Ленина. Автор и ведущая многих презентаций, встреч с творческой интеллигенцией города, литературных передач на радио ВГТРК «Волга»-Ульяновск, куратор регионального проекта «Литературная филармония», финалист Всероссийской литературной премии «Чеховский дар» (2010), победитель международного конкурса поэтической декламации «О, сто моих колец...»: приношение Марине Цветаевой» (2017).

В журнале «Симбирскъ» публиковались ее рассказы «По главной улице с оркестром...», «Малина на пепелище», «Платье ее мечты». Подборки стихов публиковались в региональных журналах «Симбирскъ» (Ульяновск), «Сура» (Пенза), «Бийский вестник», в газете «Литературный маяк» (Вологда).

Награждена памятной медалью Министерства культуры РФ «200-летие И.А. Гончарова», памятной медалью Организационного комитета по проведению Года литературы в России «За особый вклад в книжное дело», медалью Ульяновской области «Имени Н.М. Карамзина».

Ученый секретарь Дворца книги-Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И. Ленина, заслуженный работник культуры Ульяновской области.





КНИЖНАЯ ПОЛКА

Ольга ДАРАНОВА, ученый секретарь Областной научной библиотеки им.Ленина, автор проекта «Голоса из хора. Русская поэзия XX века»

«И ВСЯ ЗЕМЛЯ БЫЛА ЕГО НАСЛЕДСТВОМ». БОРИС ПАСТЕРНАК



Борис Пастернак родился 10 февраля, по старому стилю 29 января, 1890 года в Москве в небольшом доме, построенном после московского пожара в 1817 году, на углу 2-й Тверской-Ямской и Оружейного переулков в глубине Триумфальной площади. Дом, где снимали квартиру Пастернаки, принадлежал купцу Веденеву, при нем был обширный двор и столярные мастерские. Через год, осенью 1891 года, семья переехала в дом Лыжина, находившийся по соседству, напротив здания духовной семинарии в Оружейном переулке.

Ощущения детства

Позже в автобиографическом очерке «Люди и положения» Пастернак напишет:

«...Необъяснимым образом что-то запомнилось из осенних прогулок с кормилицей по семинарскому парку. Размокшие дорожки под кучами опавших листьев, пруды, насыпные горки и крашенные рогатки семинарии, игры и побоища гоголющих семинаристов на больших переменах.

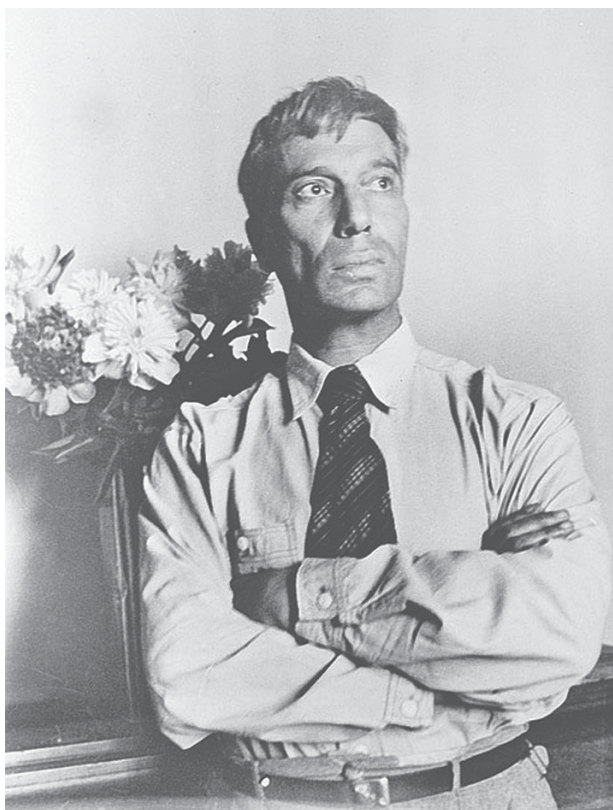
Прямо напротив ворот семинарии стоял каменный двухэтажный дом с двором для извозчиков и нашу квартиру над воротами в арке их сводчатого перекрытия. Ощущения младенчества складывались из элементов испуга и

восторга. Сказочностью красок они восходили к двум центральным образам, надо всем господствовавшим и все объединявшим. К образу медвежьих чучел в экипажных заведениях Каретного ряда и к образу добряка великана, сутулого, косматого, глухо басившего книгоиздателя П.П. Кончаловского, к его семье и к рисункам карандашом, пером и тушью Серова, Врубеля, моего отца и братьев Васнецовых, висевшим в комнатах его квартиры.

Околоток был самый подозрительный – Тверские-Ямские, Труба, переулки Цветного. То и дело оттаскивали за руку. Чего-то не надо было знать, что-то не следовало слышать. Но няни и мамки не терпели одиночества, и тогда пестрое общество окружало нас. И в полдень учили конных жандармов на открытом плацу Знаменских казарм.

Из этого общения с нищими и странниками, по соседству с миром отверженных и их историй и истерик на близких бульварах я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое <...>

В пять лет я полюбил Христа, был крещен своей няней тайно в младенчестве... Помню няня приносила нам просвиры из церкви: я еще в постели, она пришла из церкви. Дает мне освященный кусочек».



«Главное мое потрясение – папа...»

Отец Бориса Леонид Иосифович Пастернак был художником от Бога, мастером своего дела, прекрасным портретистом, ярким, единственным в своем роде человеком искусства, в совершенстве владеющим техникой живописи, очаровательным эрудированным человеком, деликатным, жизнерадостным, неутомимым, милым в общении и уважаемым коллегами и своими учениками. О том, какую роль в его жизни сыграл отец, Пастернак говорит нам в своих очерках и письмах.

Из «Автобиографии»: «Многим, если не всем, я обязан отцу, академику Леониду Осиповичу Пастернаку и матери – превосходной пианистке».

Из письма к своей двоюродной сестре Ольге Фрейденберг от 30 ноября 1948 года: «Главное мое потрясение – папа, его блеск, его фантастическое владение формой, его глаз, как почти ни у кого из современников, легкость его мастерства и несоответственная малость его признания».

Из письма сестре Жозефине от 12–16 мая 1958 г.: «Это отношение к жизни, то есть удивление перед

тем, как я счастлив и какой подарок – существование, у меня от отца...».

Мать Пастернака – Розалия Исидоровна Кауфман обладала не только высоким музыкальным дарованием, но и живым умом, редкой добротой и душевной чистотой.

У него был брат Александр, сестры Лидия и Жозефина. День его рождения пришелся на день гибели Пушкина, по церковному календарю – это день памяти преподобного Ефрема Сирина, великого раннехристианского учителя церкви и поэта IV века.

С детства ребенок жил в мире высокой культуры. В их доме бывали Толстой, Скрябин, Серов, Ге и другие известные люди своего времени. Из окна их кух-

ни можно было наблюдать за работой скульптора Паоло Трубецкого. Квартира примыкала к мастерским, где замечательные педагоги обучали молодых художников, многие из которых составили потом славу русского искусства. С детства будущий поэт не расставался с мольбертом и кистью, страстно любил музыку, несмотря на отсутствие абсолютного слуха. Ему прочили музыкальное будущее.

Из своих наставников он помнит всегда свою первую учительницу Екатерину Ивановну Боратынскую, детскую писательницу и переводчицу литературы для юношества с английского. «Меня водили к ней на урок в занимаемый ею номер меблированных комнат. В номере было темно, он снизу доверху был набит книгами. В нем пахло чистотой, строгостью, кипяченым моло-

ком и жженым кофе. За окном, покрытым кружевной вязаной занавеской, шел, напоминая петли вязания, серо-кремовый снег».

В 1901 году мальчик поступил во второй класс московской 5-й гимназии, оставшейся классической после реформы и сохранившей в программе обучения древнегреческий язык. Гимназия помещалась в двух смежных зданиях на углу Поварской и Большой Молчановки, в старом ампирином угловом особняке князей Голицыных. Его мир, который он часто вспоминал в своей жизни, мыслями в который постоянно возвращался – это душистый сумрак летнего сада, смолистые деревья, дальние горизонты, воздух, пронзенный криками птиц, слова, намерения, ненаписанные письма...

*Как радостно проникнуть в то «обратно»,
Где мир пропитан солнцем и сосной,
Где пахнет хлебом в зареве закатном,
И мошек золотистый кружит рой.*

*Там на веранде – чай, закуски, речи.
Читают, музицируют, поют*

*Ночь напролет. Лишь к утру гасят свечи
И отдыхать в гостиную идут.*

*Кусочек подоконника Глиэра
Пропитан солнцем. Лето на дворе.
Душистый сумрак вкрался за портьеру,
И тени распластались на ковре.*

*Там вечера, как гулкие колодцы
Бессвязных мыслей, слез, черновиков.
И лист признаний судорожно рвется
И, скомканный, летит за «Часослов».*

*Там музыка рождается с грозой,
И в мокрый сад распахнуто окно!
Там одиночество – причастие святое –
Лишь Гению, иному – не дано.*

Ольга Даранова

Божество – Скрябин!

Весной 1903 года родители сняли дачу в Оболенском близ Малоярославца по Брянской железной дороге. Их дачным соседом оказался композитор Скрябин. Для юного Пастернака он был Божеством.

Из книги «Люди и положения»: «Скрябин любил, разбежавшись, продолжать бег как бы силою инерции вприпрыжку, как скользит по воде пущенный рикошетом камень, точно немногого не доставало – и он отделился бы от земли и поплыл бы по воздуху. Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедовал сверхчеловека, аморализм, нищешанство... Мне было двенадцать лет. Половины их споров я не понимал. Но Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия».

А за окном была другая музыка, другая жизнь. Декабрьское вооруженное восстание, «кровавое воскресение», 1905 год. Все вокруг бурлило не школьной, а совсем иной, взрослой, непонятной жизнью.

*Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли.
Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли.*

*Я рос. И повечерий тканых
Меня фата обволокла.
Напутствуем вином в стаканах,
Игрой печального стекла...*

*Я рос, и вот уж жар предплечий
Студит объятие орла.
Дни далеко, когда предтечей,
Любовь, ты надо мной плыла.*

*Но разве мы не в том же небе?
На то и прелесть высоты,
Что, как себя оттепавший лебедь,
С орлом плечо к плечу и ты.*

Странный юноша, странные стихи

Постепенно музыка переплеталась с литературой. Вначале было увлечение прозой – Андреем Белым, Стендалем, Конрадом и Джойсом. Позже Пастернак вступил в кружок «Сердарда», куда прихо-

дили Сергей Дурылин, Сергей Бобров, Борис Садовский. Горели свечи, шелестели на столе листы бумаги, слышались звуки гитары, велись бесконечные споры, читали Рильке... В это время Пастернак пишет свое стихотворение «Пиры», в котором продолжает тему дружеского пиршества – одну из любимейших тем русского Золотого века.

*Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю.
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.*

*Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.
Надежному куску объявлена вражда.
Тревожный ветр ночей – тех здравниц виночерпьем,
Которым, может быть, не сбывться никогда.*

*Наследственность и смерть –
застольцы наших трапез.
И тихую зарей – верхи деревьев горят –
В сухарнице, как мышь, копаются анапест,
И Золушка, спеша, меняет свой наряд.*

*Полы подметены, на скатерти – ни крошки,
Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,
И Золушка бежит – во дни удач на дрожках,
А сдан последний грош – и на своих двоих.*

Стихи были необычные, ни на что не похожие. Многие не воспринимали их. Отец, Леонид Осипович, считал, что его сын рожден быть музыкантом, художником, а занимается глупостями...

Весной 1908 года пришло время окончания гимназии и сдачи экзаменов. Подготовкой выпускных экзаменов Пастернак занимается вместе с Идой Высоцкой, красивой милой девушкой, дочерью известного чаезаводчика, которая стала его первой любовью. По окончании гимназии Пастернак поступил учиться на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета, окончил его в 1913 году. А чуть раньше, в 1911-м, семья переехала из казенной квартиры в здании Училища живописи, ваяния и зодчества на другую, по адресу: Волхонка, дом 14, кв. 9, где Борису Пастернаку предстояло прожить без малого 20 лет. Квартира Пастернаков была широкой, уютной, комнаты были большие, мебель старая, в гостиной – карельская береза, на стенах – рисунки и портреты. Здесь часто за чайным столом разговаривали об искусстве известные писатели, художники того времени.

Из воспоминаний современника Пастернака Сергея Павловича Боброва, поэта, литературного критика, переводчика: «И вдруг в моей жизни появился этот странный юноша, ходивший по московскому лютному морозу в одном тоненьком плаще, с мгновенным пониманием всего, о чем я только думал. Не прошло уже и нескольких дней, как мы были закадычными друзьями... Мы разговаривали друг с другом в каком-то восторге...».

Марбург – средневековая сказка

К 1912 году мама Бориса скопила деньги и предложила ему поехать за границу. Пастернак выбрал Марбург, где в те годы процветала знаменитая философская школа, во главе которой стоял Герман Коген,

немецко-еврейский философ-идеалист, глава Марбургской школы неокантианства.

В письмах к родителям, Пастернак делился своим восторгом от пребывания в этом городе: «Если бы это был только город! А то это какая-то средневековая сказка. Если бы тут были только профессора... а то тут и Бог еще!».

Марбург очаровал его. Город, где старина и новь слились воедино, где столетия обступали тебя со всех сторон, где улица плавно переходит в университет, университет – в аудиторию, где сама История становится землею, волновал и восхищал. «Я учусь в старом Марбурге, в аудиториях с цветными окнами, сижу на скамьях, выбитых в стенах коридора, наваливаюсь всем телом на громадную, обитую железом дверь, которая не стала подвижнее от того, что ее 300 лет отпирают, люблюсь скворцом, свившим гнездо в актовом зале с органом, где рыцари в окнах, похожих на медовые соты, и высокие дубовые стулья... Здесь нет порогов, одно начинается в другом; над улицей можно перепрыгнуть, нет: просто шагнуть из окна в окно... Это какое-то глухое напряжение архаического. И это напряжение создает все: сумерки, душевность садов, опрятное безлюдье полдня, туманные вечера... Ректор, производя торжественное зачисление толпы студентов (и меня!) пожелал нам, чтобы дыхание поэзии, овевающей город святой Елизаветы, унесли мы с собой как обет молодости» (из письма К.Г. Локсу, 6/19 мая 1912 г.).

В этот год в Марбурге Пастернак вновь встретился с Идой Высоцкой, был влюблен, но получил отказ. Таинственность и афористичная непредвиденность Иды органично переплелась в его сознании со сказочным Марбургом.

*Плыла черетица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.*

*Желтел, облака пожирая, песок.
Предгрозе играло бровями кустарника.
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.*

*В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекстирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.*

Высокоцитируемые ученые Марбургского университета, среди них сам Герман Коган, были очень довольны студентом Пастернаком. Ему предлагали остаться в Германии, посвятить себя философии, преподавать в немецком университете. У него были все данные для того, чтобы сделать философскую карьеру.

Природа – поэзия

Но стихия стиховная уже бушевала в юном философе. Одно из первых стихотворений Пастернака, вошедшее в коллективный сборник «Лирика» 1913 года, было стихотворение «Февраль». Здесь появляется один из главных мотивов поэзии Пастернака – мотив окна, за которым в природе происходит то же самое, что происходит на письменном столе.

*Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Достать пролетку. За шесть гривен
Чрез благовест, чрез клик колес
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.
Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.*

В декабре 1913 года появилась первая самостоятельная книга стихов поэта с весьма притязательным названием «Близнец в тучах». Отклики были самые противоречивые, считали, что это дань символизму, так как каждое стихотворение было своеобразным ребусом. Для многих критиков и поэтов образы в поэзии Пастернака были гипертрофированы и непонятны, а поэтический мир его представлялся хаосом. Мало, кто видел в них неподкупную подлинность, остроту переживания, импрессионистическую смелость и новизну образов. Но в этом хаосе поэт искал свою Звезду.

В то время обратить на себя внимание можно было только громким, скандальным выступлением. И такие выступления потрясали Москву. Есенин, Маяковский, Мариенгоф, Асеев. Многие реагировали на общественные потрясения, яркость и пестроту. Появилась новаторская группа «Центрифуга», куда весной 1914 года вступил Борис Пастернак.

В 1916 году Пастернак едет на Урал и в Прикамье. Одну зиму живет на севере Пермской губернии, другую – на Каме, на химических заводах Ушковых. Результатом пребывания на Урале стала книжка стихов «Поверх барьеров». Ритмы стихов были в духе стремительно меняющегося времени, совершающихся событий.

В 1922 году вышел сборник стихов «Сестра моя – жизнь», написанный, главным образом, в 1917 году, в начале революционной поры. «Лето 1917 года» – таков был его подзаголовок. Эта книга принесла Пастернаку широкую известность и выдвинула его в число знаменитых русских поэтов послереволюционной поры.

Зачинатель нового лада

Эмоциональная, равнодушная к Пастернаку Марина Цветаева написала восторженный отзыв о книге «Сестра моя – жизнь»: «Я попала под нее, как под ливень! Ливень! Все небо на голову, отвесом: ливень впрямь, ливень вкось – сквозь, сквозняк, спор световых лучей и дождевых... Пастернак – большой поэт. Он сейчас больше всех: большинство из сущих – были, некоторые есть, он один – будет».

*Давай ронять слова,
Как сад – янтарь и цедру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.*

*Не надо толковать,
Зачем так церемонно
ареной и лимоном
Обрызгнута листва.*

*Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь иллюзы жалюзи.*

*Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядном сквозных, красивых
Трепещущих курсивов.*

*Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку*

*Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебастра?*

*Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист ракут*

*С седых кариагид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?
Ты спросишь, кто велит? –*

*Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.*

*Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, – подробно.*

О слоге Пастернака, об особенностях его поэтической образности было много споров и противоречивых мнений. Далеко не щедрый на комплименты и восхваления Осип Мандельштам щедро охарактеризовал поэзию Пастернака: «Со времен Батюшкова в русской поэзии не звучало столь новой и зрелой гармонии... Пастернак не выдумщик, не фокусник, а начинатель нового лада, нового строя русского стиха... Этой новой гармонией будут пользоваться все, хотят они того или не хотят, потому что отныне она общее достояние всех русских поэтов... Стихи Пастернака почитать – горло прочистить, дыханье укрепить, обновить легкие: такие стихи должны быть целебны для туберкулеза. У нас сейчас нет более здоровой поэзии. Это кумыс после американского молока».

Явлением был он сам...

Явлением в мире были не только стихи Бориса Пастернака, явлением был и он сам. Многочисленные свидетельства, воспоминания, документы доносят до нас необыкновенный облик, яркую самобытную

внешность, выражение лица, голос, смуглость кожи, поведение, отношение к людям.

То ли женским чутьем, то ли провидческой зоркостью точнее многих оценивала Пастернака Марина Цветаева: «Внешнее осуществление Пастернака прекрасно: что-то в лице зараз и от араба, и от его коня: настороженность, вслушивание, – и вот-вот... Полнейшая готовность к бегу. Громадная, тоже конская, дикая и робкая роскошь глаз. (Не глаз у него, а око!) Впечатление, что всегда что-то слушает, непрерывность внимания и – вдруг – прорыв в слово... точно утес заговорил или дуб».

Илья Эрнбург: «Меня поразили застенчивость и вызов, обидчивость внешнего самолюбия и бесконечная стыдливость всех внутренних жестов». Окружающих поражала безоглядная открытость и детская доверчивость Пастернака, при этом она была без тени наивности. В основе ее лежала некая «презумпция порядочности». Чуть ли не любого незнакомца, с которым Пастернак шел на контакт, он встречал с рыцарской старомодной учтивостью и доброжелательством. Если он обнаруживал в собеседнике интерес к себе и понимание, то щедро сам проявлял сердечность, одобрение и восхищение. Другой поражающей окружающих людей чертой Пастернака была его скромность. Она проявлялась в его способности восхищаться людьми, находить поводы для одобрения и похвал, порой обескураживающих своей чрезмерностью.

Советский и российский историк искусства, доктор искусствоведения Андрей Дмитриевич Чегодаев в своей книге «Моя жизнь и люди, которых я знал», так писал о Пастернаке: «Я видел за свою жизнь множество замечательных людей, выдающихся, иногда всемирно знаменитых. Но только три раза у меня было полное убеждение, что я нахожусь в присутствии гения, в присутствии даже, может быть, не полубога, а просто самого Бога. Так было с Феллини, так было с Марком Шагалом и так было с Пастернаком».

*Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
– Поздно, выплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.*

*Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом разразилась гроза.*

*Пил, как птицы. Тянул до потери сознания.
Звезды долго горлом текут в пиццевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.*

Первой женой Пастернака стала Евгения Лурье, молодая художница, тонкая, стройная, с нежным овалом лица и утонченной грацией в движениях. Она была одаренной художницей, но ее талант был несоизмерим с талантом Пастернака.

Духовное родство связало двух больших поэтов – Пастернака и Цветаеву. Своим первым поэтом в жизни называла Пастернака Марина Цветаева. «Россия для меня – это ты. Когда я говорю Москва, я молниеносно говорю – Пастернак», – писала она ему в апреле 1926 года. Ему также близка была ее мятеж-

ность, безоглядность, страсть, размах. «Ты – моя безусловность. Ты с головы до ног, горячий, воплощенный замысел, как и я, ты невероятная награда мне за рождение и блуждания и веру в бога и обиды».

Русская эмиграция в лице Владислава Ходасевича, Георгия Адамовича, Ивана Бунина не любила и не воспринимала Пастернака, укоряла его в раздутой и предвзятой сложности своих образов, в пренебрежении к пушкинским канонам поэзии, ерничала, что-де горизонты пушкинской ясной прозрачной лирики тесны для гения Пастернака. В противовес им критик и публицист Дмитрий Петрович Святополк-Мирский защищает и дает высокую оценку поэту: «Такого поэта, как Вы, у нас в России не было со времени золотого века, а в Европе сейчас может быть спор только между Вами и Томасом Элиотом».

После того, как были написаны поэмы «1905 год», «Лейтенант Шмидт», русская пролетарская критика взахлеб заговорила о переходе Пастернака на пролетарские рельсы и доступности и понятности его новой поэзии. А для самого поэта это была своего рода сделка со временем, когда наряду с новыми революционными идеалами ему хотелось обратить внимание на то, что дорого ему. «Мне хотелось дать в неразрывно-сосватанном виде то, что не только поссорено у нас, но ссора чего возведена чуть ли не в главную заслугу эпохи. Мне хотелось связать то, что ославлено и осмеяно (и прирожденно дорого мне), с тем, что мне чуждо, для того, чтобы, поклоняясь своим догматам, современник был вынужден, того не замечая, принять и мои идеалы».

*Это было при нас.
 Это с нами вошло в разговорку
 И уйдет.
 И однако,
 За быстрою сменой лет,
 Стерся след,
 Словно год
 Стал нулем меж девятки с пятеркой,
 Стерся след,
 Были нет,
 От нее не осталось примет.
 Еще ночь под ружьем
 И заря не взялась за винтовку.
 И однако,
 Вглядимся:
 На деле гораздо светлей.
 Этот мрак под ружьем
 Погружен
 В полусон
 Забастовкой.
 Эта ночь
 Наше детство
 И молодость учителей.*

*Ей предшествует вечер
 Крушений,
 Кружков и героев,
 Динамитчиков,
 Дагерротипов,
 Горенья души.
 Ездят тройки по трактам,
 Но, фабрик по трактам настроив,
 Подымаются Саввы
 И зреют Викулы в глуши.*

*Барабанную дробь
 Заглушают сигналы чужунки.
 Гром позорных телег
 Громыканье первых платформ.
 Крепостная Россия
 Выходит
 С короткой приструнки
 На пустырь
 И зовется
 Россиею после реформ.*

Из «Охранной грамоты»: «Начало апреля застало Москву в белом остолбенении вернувшейся зимы <...> А 14 апреля 1930 года застрелился Владимир Маяковский». Пастернака нельзя было назвать другом Маяковского, но трагедию большого поэта Пастернак почувствовал за несколько лет до его гибели.

*Был день, безвредный день, безвредней
 Десятка прежних дней твоих.
 Толпились, выстроясь в передней,
 Как выстрел выстроил бы их.*

*Как, сплющив, выплеснул из стока б
 Лецей и щуку минный вспых
 Шутих, заложенных в осоку,
 Как вздох пластов нехолостых.*

*Ты спал, постлав постель на сплетне,
 Спал и, оттрепетав, был тих, –
 Красивый, двадцатидвухлетний,
 Как предсказал твой тетраптих.*

*Ты спал, прижав к подушке щеку,
 Спал, – со всех ног, со всех лодыг
 Врезаясь вновь и вновь с наскоку
 В разряд преданий молодых.*

*Ты в них врезался тем заметней,
 Что их одним прыжком достиг.
 Твой выстрел был подобен этне
 В предгорье трусов и трусик.*

*Друзья же изошрялись в спорах,
 Забыв, что рядом – жизнь и я.
 Ну что ж еще? Что ты пример их
 К стене и стер с земли, и страх*

*Твой порох выдает за прах?
 Но мрази только он и дорог.
 На то и рассуждений ворох,
 Чтоб не бежала за края
 Большого случая струя,
 Чрезмерно скорая для хворых.*

*Так пошлость свертывает в творог
 Седые сливки бытия.*

Лето 1930 года Пастернак вместе с семьей Асмусов провел на даче в Ирпене под Киевом. Вместе с ними были и Генрих Густавович и Зинаида Николаевна Нейгаузы. Пастернак в то время уже ухаживал за Зинаидой Николаевной.

«Попав на дачу с ее «лесной капеллой», колодцем и темными вечерами, ничем не просветляемыми за недостатком керосина, я был оздоровлен в сутки не

близостью прекрасного сада, а прежде и разительнее всего превосходством дачного комфорта по сравнению с квартирными условиями Москвы... Мне давно уже не работалось так, как там, в Ирпене».

*Годами когда-нибудь в зале концертной
Мне Брамса сыграют, – тоской изойду.
Я вздрогну и вспомню союз шестисердый,
Прогулки, купанье и клумбу в саду.*

*Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлой улыбкой, улыбкой вздох,
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб.*

*Мне Брамса сыграют, – я вздрогну, я сдамся,
Я вспомню покутку припасов и круп,
Ступеньки террасы и комнат убранство,
И брата, и сына, и клумбу, и дуб.*

*Художница пачкала красками траву,
Роняла палитру, совала в халат
Набор рисовальный и пачки отравы,
Что «Басмой» зовутся и астму сулят.*

*Мне Брамса сыграют, – я сдамся, я вспомню
Упрямую заросль, и кровлю, и вход,
Балкон полутемный и комнат питомник,
Улыбку, и облик, и брови, и рот.*

*И сразу же буду слезами увлажен
И вымокну раньше, чем выплачусь я.
Горячая давность ударит из скважин,
Околицы, лица, друзья и семья.*

*И станут кружком на лужке интермеццо,
Руками, как дерево, песнь охватив,
Как тени, вертеться четыре семейства
Под чистый, как детство, немецкий мотив.*

«Цвет небесный, синий цвет...»

Разрыв с женой Евгенией Владимировной был неизбежен, после объяснения с Зинаидой Николаевной Пастернак оставляет семью. Вскоре в двух семьях произошли перевороты, осложнения и перемены, душевно тяжелые для участников. Некоторое время Пастернаку и его второй жене не было пристанища, и они временно нашли приют в Тифлисе у поэта Паоло Яшвили. Тогда впервые Пастернак познакомился с Кавказом. «Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным откровением. Все было ново, все удивляло: вынесенная из дворов на улицу жизнь беднейшего населения, более смелая, менее прячущаяся, чем на севере, яркая, откровенная; благоустроенные уголки Тифлиса, напоминавшие Петербург; гнутые в виде корзин и лир оконные решетки бельэтажей, красивые закоулки; преследующая по пятам и везде наступающая дробь бубна, отбивающего ритм лезгинки; наступление южного городского вечера, полного звезд и запахов из садов, кондитерских и кофеен». Грузинские поэты полюбили Пастернака больше всех современных поэтов, буквально носили его на руках.

Пастернак счастлив с Зинаидой Николаевной, она, в свою очередь, видела свое предназначение в том, чтобы создать ему такой дом, в котором он мог

бы работать, а она – оберегать эту работу. Зинаида Николаевна, помимо своих безусловных внешних достоинств, обладала уникальной способностью налаживать и поддерживать обыкновенную повседневную жизнь. Сам Пастернак мог увлеченно заниматься домашним хозяйством и считал, что поэтическая натура должна любить повседневный быт и что в этом быту можно всегда найти поэтическую прелесть. Он очень любил топить печку. В квартире на Волхонке у него не было центрального отопления, и он топил всегда сам, потому что любил дрова и огонь и находил это красивым. Он также любил запах чистого белья и иногда снимал его с веревки сам. Такие занятия прекрасно сочетались у него с вдохновением и творчеством.

Осенью 1930 года Борис Пастернак читал свою поэму «Спекторский» в зале Дома ученых на Кропоткинской. Успех был громадный. Пастернака назвали первым поэтом страны. И еще одно слово разошлось из этого зала, вошло в обиход: *интеллектуальная поэзия Пастернака*.

Для того, чтобы материально существовать, Пастернак занимается переводами. Он переводит грузинских поэтов. Что важнее всего – в переводах Пастернака чувствуется напев, а не простое переложение образов, и все это без знания грузинского языка. Стихотворение великого грузинского поэта XIX века Николоза Бараташвили «Цвет небесный, синий цвет» в переводе Бориса Пастернака:

*Цвет небесный, синий цвет,
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.*

*И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам.*

*Он прекрасен без прикрас.
Это цвет любимых глаз.
Это взгляд бездонный твой,
Напоенный синевою.*

*Это цвет моей мечты.
Это краска высоты.
В этот голубой раствор
Погружен земной простор.*

*Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах моих.*

*Это синий негустой
Иней над моей плитой.
Это сизый зимний дым
Мглы над именем моим.*

В июне 1935 года Пастернак принял участие в Международном конгрессе писателей в защиту культуры. Его речь была проникнута искренней заботой о поэзии, о свободе личности поэта: «Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что

надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях, она навсегда останется органической функцией счастья человека». Ответом ему был шквал аплодисментов.

Илья Эренбург в своих воспоминаниях описал исключительное явление, каким был Борис Пастернак: «Зал сразу понял, кто перед ним: это было ощущение живого поэта, зубра, вымершего в Европе, большой совести, большой детскости... Он все берет всерьез: шутку, цветы, чужую обмолвку. Для него жизнь куда сложнее, куда гуще, нежели для других».

Замечательные стихи ему посвятила Анна Ахматова:

*Он, сам себя сравнивший с конским глазом,
Косится, смотрит, видит, узнает,
И вот уже расплавленным алмазом
Сияют лужи, изнывает лед.*

*В лиловой мгле покоятся задворки,
Платформы, бревна, листья, облака.
Свист паровоза, хруст арбузной корки,
В душистой лайке робкая рука.*

*Звенит, гремит, скрежещет, бьет прибоем
И вдруг притихнет, – это значит, он
Пугливо пробирается по хвоям,
Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон.*

*И это значит, он считает зерна
В пустых колосьях, это значит, он
К плите дарьяльской, проклятой и черной,
Опять пришел с каких-то похорон.*

*И снова жжет московская истома,
Звенит вдали смертельный бубенец -
Кто заблудился в двух шагах от дома,
Где снег по пояс и всему конец?..*

*За то, что дым сравнил с Лаокооном,
Кладбищенский воспел чертополох,
За то, что мир наполнил новым звоном
В пространстве новом отраженных строф, –*

*Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.*

Последнюю предвоенную зиму 1940 года Пастернак живет в Переделкино. Ему нравится жить за городом, нравится физический труд, одиночество и работа. В письме к своей двоюродной сестре Ольге Фрейденберг от 15 ноября 1940 года он пишет: «Мы с Зиной развели большущий огород, так что я осенью боялся, что у меня с нею не хватит сил собрать все и сохранить. Какая непередаваемая красота – жизнь зимой в лесу, в мороз, когда есть дрова. Глаза разбегаются, это совершенное ослепление. Сказочность этого не в одном созерцании, в мельчайших особенностях трудного, настороженного обихода. Час упустишь, и дом охолодает так, что потом никакими топками не нагонишь. Заезаешься, и в погребке начнет мерзнуть картошка или заплесневеют огурцы. И все это дышит и пахнет, все живо и может умереть. У нас полподвала своего картофеля, две бочки шинкованной капусты,

две бочки огурцов. А поездки в город, с пробуждением в шестом часу утра и утренней прогулкой за три километра темным, ночным еще полем и лесом, и линия зимнего полотна, идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, к которому ты опоздал и который тебя обгоняет у выхода с лесной опушки к переезду. Ах, как вкусно еще живется, особенно в периоды трудности и безденежья, как еще рано сдаваться, как хочется жить».

*Я под Москвою эту зиму,
Но в стужу, снег и буревал
Всегда, когда необходимо,
По делу в городе бывал.*

*Я выходил в такое время,
Когда на улице ни зги,
И рассыпал лесною темью
Свои скрипучие шаги.*

*Навстречу мне на переезде
Вставали ветлы пустыря.
Надмирно высились созвездья
В холодной яме января.*

*Обыкновенно у задворок
Меня старался перегнать
Почтовый или номер сорок,
А я шел на шесть двадцать пять.*

*Вдруг света хитрые морщины
Сбирались щупальцами в круг.
Прожектор несся всей машиной
На оглушенный виадук.*

*В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком.*

*Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.*

*Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя,
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.*

*В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли как господа.*

*Рассевишишь кучей, как в повозке,
Во всем разнообразье поз,
Читали дети и подростки,
Как заведенные, в засос.*

*Москва встречала нас во мраке,
Переходившем в серебро,
И, покидая свет двоякий,
Мы выходили из метро.*

*Потомство тискалось к перилам
И обдавало на ходу
Черемуховым свежим мылом
И пряниками на меду.*

Из Записных книжек Анны Ахматовой: «Природа всю жизнь была его единственной полноправной Музой, его тайной собеседницей, его Невестой и возлюбленной, его Женой и Вдовой – она была ему тем же, чем была Россия Блоку».

«Он жил в это время не в башне из слоновой кости, а в тесных нетопленных комнатах, как жили все, и хуже, чем многие», – писал о своих встречах с Пастернаком Алексей Gladков. Но зима для Пастернака была еще и ощущением чуда, возвращением в детство, к себе настоящему, в то былое, которое навсегда останется в памяти.

Музыка

*Как я люблю ее в первые дни
Только что из лесу или с метели!
Ветки неловкости не одолели.
Нитки ленивые, без суетни,
Медленно переливая на теле,
Виснут серебряною канителью.
Пень под глухой пеленой простыни.*

*Озолотите ее, осчастливьте
И не смигнет. Но стыдливая скромница
В фольге лиловой и синей финифти
Вам до скончания века запомнится.
Как я люблю ее в первые дни,
Всю в паутине или в тени!*

*Только в примерке звезды и флаги,
И в бонбоньерки не клали малаги.
Свечки не свечки, даже они
Штифтики грима, а не огни.
Это волнующаяся актриса
С самыми близкими в день бенефиса.
Как я люблю ее в первые дни
Перед кулисами в кучке родни.
Яблоне – яблоки, елочке – шишки.
Только не этой. Эта в покое.
Эта совсем не такого покроя.
Это – отмеченная избранница.
Вечер ее вековечно протянется.
Этой нисколько не страшно пословицы.
Ей небывалая участь готовится:
В золоте яблок, как к небу пророк,
Огненной гостьей взмыть в потолок.*

*Как я люблю ее в первые дни,
Когда о елке толки одни!*

С Переделкино, с предвоенного цикла начинается поздний Пастернак. Нет, он остался верен себе, его стих также метафоричен и образен, он также покрывает зорко увиденной деталью. Но его стихи о советских мирных днях и позже о военном времени подкупают простотой, мудростью, ясностью и чистотой.

Так уж случилось, что в жизни Пастернака была и третья женщина. Ее звали Ольга Всеволодовна Ивинская. Ей посвящено стихотворение «Осень» («Я дал разбехаться домашним...»). Из воспоминаний Ольги

Ивинской: «Входя в мою жизнь с ковровой дорожки редакции, он прежде всего поражал диковатой, неправильной четкой скульптурностью – причем скульптура эта была сотворена гением, очевидно, не знавшим канонов и пропорций. Из-под резца этого гения вышел человек без национальности, с яркими, чуть косоватыми глазами над летящими к вискам бровями, человек, бредущий по вселенскому пейзажу».

После войны Пастернак приступает к написанию романа «Доктор Живаго». Этот замысел зрел в нем долгие годы, о чем сам поэт пишет так: «Я хочу написать прозу о всей нашей жизни от Блока до нынешней войны». Роман вызвал целую бурю противоречивых откликов – от восторгов до полного неприятия. В письме Б. Пастернаку Лидия Чуковская писала: «Вот уже сутки я не ем, не сплю, не существую, а читаю роман... Главных чувств два: не хочу снова остаться без него, хочу читать и читать. Второе чувство: учишься понимать, за что уничтожают искусство».

Во второй книге романа, в подборке «Стихотворения Юрия Живаго», размещено знаменитое стихотворение Бориса Пастернака «Рождественская звезда», написанное в январе 1947 года, которое среди русских литературных текстов, посвященных Рождеству, занимает особое место. Известная пианистка XX века друг Б. Пастернака Мария Юдина так отзывалась об этом стихотворении: «О стихах и говорить нельзя... Если бы Вы ничего, кроме Рождества, не написали в жизни, этого было бы достаточно для Вашего бессмертия на земле и на небе».

*Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.
Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.
Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.
А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Межцала звезда по пути в Вифлеем.
Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.
Она возвышалась горячей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.
Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.
За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей*

Другого, шажками спускались с горы.
 И странным виденьем грядущей поры
 Вставало вдали все пришедшее после.
 Все мысли веков, все мечты, все миры,
 Все будущее галерей и музеев,
 Все шалости фей, все дела чародеев,
 Все елки на свете, все сны детворы.
 Весь трепет затепленных свечек, все цветы,
 Все великолепье цветной мишуры...
 ...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
 ...Все яблоки, все золотые шары.
 Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
 Но часть было видно отлично отсюда
 Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
 Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
 Могли хорошо разглядеть пастухи.
 – Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, –
 Сказали они, запахнув кожану.
 От шарканья по снегу сделалось жарко.
 По яркой поляне листьями слюды
 Вели за хибарку босые следы.
 На эти следы, как на пламя огарка,
 Ворчали овчарки при свете звезды.
 Морозная ночь походила на сказку,
 И кто-то с навьюженной снежной гряды
 Все время незримо входил в их ряды.
 Собаки брели, озираясь с опаской,
 И жались к подпаску, и ждали беды.
 По той же дороге чрез эту же местность
 Шло несколько ангелов в гущи толпы.
 Незримыми делала их бестелесность,
 Но шаг оставлял отпечаток стопы.
 У камня толпилась орава народу.
 Светало. Означились кедров стволы.
 – А кто вы такие? – спросила Мария.
 – Мы племя пастушье и неба послы,
 Пришли вознести Вам Обоим хвалы.
 – Всем вместе нельзя. Подождите у входа.
 Средь серой, как пепел, предупреденной мглы
 Топтались погонщики и овцеводы,
 Ругались со всадниками пешеходы,
 У выдолбленной водопойной колоды
 Ревели верблюды, лягались ослы.
 Светало. Рассвет, как тылинки золь,
 Последние звезды сметал с небосвода.
 И только волхов из несметного сброда
 Впустила Мария в отверстие скалы.
 Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,

Как месяца луч в углубленье дупла.
 Ему заменяли овчинную шубу
 Ослиные губы и ноздри вола.
 Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
 Шептались, едва подбирая слова.
 Вдруг кто-то в потемках, немного налево
 От яслей рукой отодвинул волхва,
 И тот оглянулся: с порога на Деву,
 Как гостя, смотрела звезда Рождества.

В 1955 году была закончена последняя глава романа «Доктор Живаго». Роман был отвезен в разные редакции, но никто не взялся его публиковать. В 1956 году романом заинтересовался итальянский издатель Фельтринелли и Борис Леонидович дал согласие на выход в свет романа в Италии. В ноябре 1957 году роман появился в Италии. Пастернак был счастлив. 24 октября 1958 года стало известно о присвоении Пастернаку Нобелевской премии, а 25 октября печать открыла прямо-таки военные действия против Бориса Леонидовича. В «Литературной газете» и других изданиях обвиняли его в предательстве, называли Иудой, отщепенцем, сорняком, лягушкой в болоте и еще много кем... Его уговаривали отказаться от Нобелевской премии. Создававшаяся ситуация, сложные отношения с Ольгой Ивинской привели к инфаркту, а затем и к более страшному диагнозу – раку легких. Пастернак скончался 30 мая 1960 года. Последним его пожеланием было обращение к сестре с просьбой открыть окно в сад.

Зинаида Николаевна умерла в 1966 году от той же болезни, что и муж. Ее сын Леонид Борисович умер в 1976 году в 38 лет (примерно в том же возрасте, что и Юрий Живаго). Старший сын, литературовед и биограф отца, Евгений Борисович скончался 31 июля 2012 года в Москве в возрасте 88 лет. Все они похоронены рядом с могилой Бориса Пастернака на Перedelкинском кладбище.

Выступая с прощальным словом на похоронах Пастернака, философ, близкий друг Пастернака Валентин Асмус проговорил: «Он любил свою родину – ее природу, ее великую духовную культуру, ее больших людей: художников, писателей, музыкантов. Он не навязывал себя современности, не спорил с ней, так как уважал ее и твердо знал, что придет время, когда современность к нему вновь обратится. Это время не за горами».



Использованы источники:

1. Ивинская О. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. – М., 1992.
2. Мандельштам О.Э. О поэзии // О.Э. Мандельштам. Собр. соч. в 4 т.– Т.2. – М., 1993.
3. Сергеева-Клятис А. Пастернак в жизни. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 560 с.
4. Эренбург И. Книга для взрослых // Знамя. – 1936. – № 5.
5. Эренбург И. Люди, годы, жизнь. – М., 1990.

ОВЛАДЕТЬ МАСТЕРСТВОМ

Станислав СЛЕСАРСКИЙ – заслуженный художник России, лауреат международной премии имени А.А. Пластова, член правления Ульяновской региональной организации Союза художников России. Родился 17 мая 1945 года в городе Казани. Учился в Казанском художественном училище. Окончил Ленинградский институт имени И.Е. Репина, учился в мастерских профессоров А.Д. Зайцева, В.В. Соколова, Л.В. Худякова. С 1987 года живет в Ульяновске. Предки по линии матери из Симбирской губернии (село Матвеевка Старомайнского района). В апреле-мае 2018 года в ульяновской галерее Союза художников была развернута персональная выставка картин Станислава Слесарского.

Мы встретились с художником в его мастерской. Он рассказал о своих корнях, о годах профессиональной учебы и преподавателях, о своих работах и о стремлении к совершенству.



Станислав Слесарский. Автопортрет

Знаешь свои корни?

Село Матвеевка Старомайнского района – богатое село было, церковь была хорошая (ее сломали в хрущевское время). Мой дед по линии матери – Алексей Романович Сажин – был отсюда.

Как-то тетка, Александра Матвеевна, двоюродная сестра моей матери спросила: «Ты знаешь свои корни? Откуда здесь Сажины появились?». Как рассказала мне тетюшка, по семейному преданию, когда-то Яков Сажин был сюда прислан – сослан с Сенатской площади с восстания декабристов. Был он там, среди солдат, молодой, 18-ти лет, музыкант Черниговского полка. Сюда сослали как крепостного к помещику, здесь женили. Родились дети. От него пошла наша линия. Дед Алексей Романович был сапожник. Он хорошо сапожничал, но сильно пил. Его, как бабушка рассказывала, отдали на выучку в артель сапожную, а там приучали пить. Если откажешься, били колодкой по голове... Он был артельщик. С созданием колхозов артель разогнали. Поехал попытать счастье сначала в Астрахань. А потом отправился в Казань, устроился на сапожную фабрику «Спартак» на конвейер. Умер в 46 лет.

У него были дети: дочь Галина (моя мама), сыновья Петр, Александр, Роман, Николай.

Мама Галина Алексеевна Сажина во время войны работала на авиационном заводе в Казани.

Мой отец – Петр Станиславович Слесарский – полуполяк, полуукраинец (у него мать украинка, отец поляк) был родом Западной Белоруссии. Эта территория отошла к Советскому Союзу. Когда он паспорт получил, стал советским гражданином и поехал в Ленинград. Ему посоветовали: «Найдешь Путиловский завод и там будешь работать». Как он рассказывал, приехал шестнадцатилетним, в лаптях. Ему сказали, что вот этот трамвай идет до Путиловского завода. Он и бежал за этим трамваем, думал, что вот этот один-единственный только и идет до Путиловского. Не знал, что можно подождать следующего... Родным языком для него был белорусский. Он на белорусский манер так поначалу разговаривал. Говорил «вя-

дро, трапка». Бабушка спрашивала: «Когда научишься по-русски говорить?». Потом он окончил семь классов. А почерк у него был прекрасный, как у писаря, и ошибок он не делал. На фронт взяли в самом начале войны. В болотах под Ленинградом он воевал, был ранен. Немцы были на Пулковских высотах, нещадно обстреливали наших. После ранения эвакуировали в Казань, там лежал в госпитале. Рану зашили, но осколки, как оказалось, не извлекли. Это выяснилось потом, лет через десять известный казанский хирург Домбрычев 6 часов делал операцию. «Вот, – сказал он отцу, – это твои медали». Осколки были такими острыми, что потом я ими точил карандаши. Отец так и остался жить в Казани, стал работать на заводе. Здесь познакомился с моей мамой. Здесь поженились. В мае 1945 года родился я.

Дядя мой, Петр Сажин, был хорошим скульптором, хотя нигде не учился. Жизнь привела его на Урал. Там есть несколько памятников, автором которых он является (о нем можно прочесть и в Интернете). Когда приезжал дядька Петр, я спрашивал его, как он стал скульптором. «Видишь памятник Тукаю? Его делал скульптор Садри Ахун. Я его знал, я ему помогал, когда был десятиклассником, что-то лепить, формовать». То есть была у Петра практика, первые навыки он получил в юности.

Другой мамин брат, мой крестный Александр, тоже имел склонность к рисованию. Даже учился в художественном училище. Но жизнь сложилась трудно. Воевал, попал в плен, потом бежал, партизанил в белорусских лесах. Его знали среди партизан как «дядю Сашу». А после войны его посадили в сталинские лагеря «за плен». Потом ему стали приходить боевые награды из Белоруссии, в семье думали, может быть, послать в лагерь, чтобы смягчить там его пребывание. Освободился он после реабилитации, вместо пятнадцати лет просидел семь. После освобождения из лагеря дядя Саша стал пить. Его разыскали потом следопыты из Белоруссии, сказали, что есть музей, где и о нем рассказывается, приглашали приехать. Но он, конечно, не поехал.

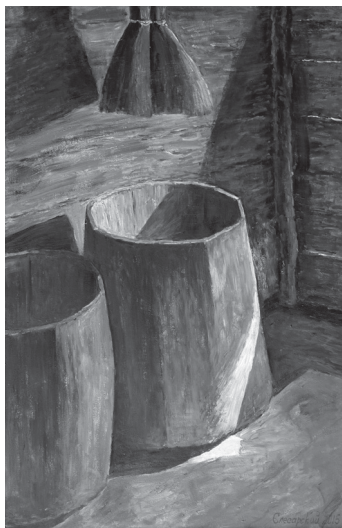
На фронте погибли Роман, Николай – мамыны

братья. Бабушка все ждала-ждала, они так и не вернулись... Жаль, что многого не знаю о своих предках, а сейчас уж и спросить не у кого.

Чуланчик.

Гипсовый Ленин и Академия художеств

Из пяти детей нашей семьи (у меня три сестры и брат), я лепил и рисовал, сколько помню себя. Мать не жалела для меня ничего, поощряла мою увлеченность, для лепки покупала мне пластилин. Помню



«Забывтый чулан»

в детстве в Казани двор, дом, где мы жили. Помню, был чуланчик, можно было и на чердак там залезть. Был мешок колодок обувных от деда. Я из них кораблики делал. В чулане были сложены гипсовые диски. Фигуры гипсовые: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Мне хотелось сделать-слепить самому. В школе я уже Ленина лепил. И как делать барельеф Ленина, уже наизусть знал. В пятом классе скульптуру – голову Ленина – из гипса отлил.

Был у меня учитель – театральный декоратор Николай Александрович Равинский. Хороший человек, настоящий интеллигент, доброжелательный очень (говорил, «вот, Станислав, я живу и у меня нет врагов!»). Он многому меня научил. Мне, школьнику, дал задание сделать березовый пенек и топор-бутафорские из папье-маше для оперного спектакля в театре. Вот я делал этот пенек, старался, чтобы был как настоящий. И был на этом спектакле и не следил за действием, а только все ждал, когда мой пенек вынесут... Николай Александрович мне – мальчишке – говорил: «Будешь учиться в Академии художеств в Ленинграде, потом привези мне оттуда корюшки, такая продается на Невском». Тогда я думал, какая академия? О чем он говорит? Так он первый мне сказал, что я буду учиться в Академии художеств. Это сбилось. А корюшки я ему так и не привез...

Мои университеты

Два года я учился в художественной школе и там выиграл конкурс, вылепив Павку Корчагина на коне, был награжден альбомом «На сто одном острове» (о Ленинграде) и книгой «Скульптор Шадр». Как будто все постепенно подготавливало будущее. В 1959 году поступил в Казанское художественное училище. Художник Николай Иванович

Фешин (1881 – 1955) в казанском училище был кумиром. (Ныне училище носит имя Н.И. Фешина). У нас преподавали три ученика Фешина: Тимофеев с женой и Сокольский – ученик, а потом и его ассистент. У него я учился. Там были грамотные преподаватели,

профессионалы. Уровень был настолько высок! Фешинские образцы там были, каждый из учеников испытал влияние Фешина, ощущал стремление к совершенству. В училище я рано поступил, с седьмого класса. В школе так не хотелось учиться. А там – рисунок, свобода! У нас после училища все, кто отлично учился, поступали в Москву в Суриковский или в академию в Ленинград. Сначала я собрался в Москву. Нужны были работы, а у меня их не было с собой. Пришлось выкрасть свои картины оттуда, где они хранились, из методического фонда. Я сначала планировал ехать в Москву. А председатель комиссии Кипарисов был из Ленинграда, видел мою дипломную работу и сказал мне: «Зачем тебе в Москву, езжай в Ленинград, поступи». И я поехал. Народу приехало со всего Союза. Человек 17 на место. Стоял в большой очереди подавать документы. Картины поставил рядом. Вдруг подходит хмурый мужчина, смотрит на мои «наглые», здоровые холсты. (Как я узнал позже это был Худяков Леонид Васильевич, потом я учился у него, начиная с третьего курса).

– Чьи это холсты, ваши?

– Мои.

– А любопытно бы взглянуть!

Я стал развязывать – никак. Он терпеливо ждал. Посмотрел одобрительно – работы-то хорошие, не зря нас пять лет учили. Спросил откуда – из Казани. Хорошо. А еще этюды мои посмотрел и тихонечко так сказал: «А этюды возьмите и утопите в Неве». Я послушался, потом взял эту пачку картонок, пошел, сел на ступеньку между сфинксами и стал бросать рисунки в Неву. А они опять ко мне приплывают, потом пошел и забросил подальше. Так я распрощался со своими неудачными пленэрными работами.

А сочинение? Не готов был к сочинению. У меня была в училище учительница по литературе Елизарова, родственница семьи Ленина. Я писал грамотно, но всегда выбирал свободную тему. Она позволяла. На приемных экзаменах в академию принимал сочинение дядька суровый в очках. Какой-то доцент был из университета, принципиальный. Двоих вывел сразу-когда зашуршали шпаргалками. Написал темы на доске, пять тем, ни одной я не знаю. Сижу прямо перед ним. Все пишут, пыхтят... И вот он говорит: «Кому эта «лабуда» надоела (так и сказал), пишите на свободную тему». Как будто специально для меня сказал. И добавил, что можно написать про свою первую книгу. Вот я стал писать про свою любимую книгу

«Бэла. Тамань» М. Лермонтова. Это, действительно, была моя первая книга. Купил я ее школьником на сэкономленные копейки. Мне само название понравилось необычное. «Бэла. Тамань...». Писал в сочинении, как залез на крышу и стал читать. (Я очень любил забираться на крышу, там я мог мечтать, ощущал свободу и открытость.) Писал, как соседский парень голубятник Гена Губа рядом голубей запускать. Как переманивали сизарей. Все, что помнил об этом дне – написал – о своих впечатлениях... Сдал сочинение раньше всех. И ушел в футбол играть с моисеевскими студентами. Молодой был, глупый. Мой товарищ



Академия художеств. Санкт-Петербург.

Молодой был, глупый. Мой товарищ

Валерка Скобеев думал, что я не сдал. А мне поставили четверку!

Почему поступил? Да, наверное, так надо было. Волновался еще, как сдам немецкий. А тут объявляют, что экзамен по немецкому отменили. Тоже повезло. Пришлось только вскоре уйти в армию. Ни до того, ни после того из академии не брали в армию. А в том 1964 году как раз взяли.

Жалко, что пришлось сделать перерыв в учебе. Вернулся после армии в академию, а мне тут сказали, что про нас забыли, вам места нет. И тут встретил своего педагога Ивана Семеновича Сорокина. Он взял меня к себе (родом был И. Сорокин из Кузоватова, говорил мне, мы же земляки, волжане). Очень был добрый человек. Я стал жадно рисовать. Ребята с натуры одну работу писали, а я три. Потом выставка была, мои работы заняли всю нишу. Другие жаловались, почему я целую нишу занял. Иван Семенович сказал: «Ему можно». Когда я вошел в силу, не было у меня проблем по рисованию.

К Мыльникову как к мастеру я не попал, пошел к Александру Дмитриевичу Зайцеву. И не пожалел. Там была, действительно, живопись. Педагоги были искренние, честные, принципиальные. Зайцев в 30-е годы вместе с Бродским, Осьмеркиным, Кончаловским восстанавливали академию. Зайцев – фронтовик, а Худяков блокаду пережил. Такие были преподаватели. Задача внутренняя овладеть мастерством осталась с казанской школы, с училища. Я сам потом в этом училище лет десять преподавал. Я давал студентам все, что мог, учил тому, что умел сам. «Школа» нужна художнику. И академия нужна, чтобы подняться на новую ступень. В этом я уверен.

Без веры писать нельзя

В храмах я давно работал, расписывал, еще со студенческих лет. Вот и в Тбилиси работа в одном храме была, перед дипломом, все лето восстанавливал росписи, четырех евангелистов писал.

Много времени отдал. С одной стороны хорошо, с другой стороны – это ремесло, копирование.

Может за это время свое что-нибудь бы написал. Трудно сказать однозначно. Но конечно, это не пустое, свой отпечаток оставляет. В каких храмах росписи делал? Здесь, на Верхней Террасе иконостасы, за Алатырем в Казанской-Ключевской пустыни роспись делал. И в Дивееве мои иконы есть, и пожить там пришлось. Я писал и иконы Серафима Саровского – моего любимого святого. Первый раз написал его еще в 1988 году. Своим подвигом духовным он привлекает верующих. Конечно, без веры писать нельзя. Невозможно, чтобы



«Апостолы Петр и Павел»

неискренний человек мог написать что-то духовное. Если душа не затронута, ничего не получится. Иконопись меня обогатила, дала прививку духовности.

В Кокряти есть храм Космы и Дамиана, который не закрывался никогда. Было время, мы с семьей из своей Матвеевки ходили туда за несколько километров на службы. Прихожан было мало. Была там примечательная личность. В храме была регентом старушка Марья Петровна. На службу ее привозили на тележке. До 14 лет она могла ходить. Потом будто приснился ей сон, кто-то вроде Николая Угодника сказал: «Я у тебя ножки заберу, а ты будешь в храме сидеть». И она не просто сидела, а пела, хорошо знала порядок службы, еще и батюшкам подсказывала. Жена моя Людмила пела с ней, она и ей замечания делала. Меня Марья Петровна уважала, говорила жене: «Ты, Людмила, Петровича слушайся. Он у тебя умный». Иногда я с улыбкой напоминаю жене эти слова. Нет уже Марьи Петровны. И в храме этом почти не бываем. А портрет Марьи Петровны я написал с натуры. Красивая была, в платочке перед лампадой. Родственникам отдал. У меня не сохранилось даже фотографии этой работы. Впрочем, как и многих других картин, с которыми расстался.

Много лет назад был такой эпизод. Была у нас на реставрации старинная икона, образ святого целителя Пантелеймона афонского письма. Как-то к нам в мастерскую зашла одна женщина – экстрасенс. Говорит: «А у вас в этом углу есть что-то святое». И нашла ту самую «настоящую» икону, она была спрятана от глаз за мольбертом. Посмотрела на иконы, написанные нами, прокомментировала по-разному. Вот эту писали, ругались видно, от нее что-то плохое чувствую. Потом про нас – собравшихся в мастерской – каждому что-то сказала. Про меня почему-то: «А у Станислава над головой золотой крест. У тебя, наверное, в роду кто-то был священник?». (Я сказал, что нет, а потом выяснил, что был, в этой самой Матвеевке Симбирской губернии и служил, брат моего деда был диаконом. Рассказывали, что очень близко к храму жил. Дома облачался и шел на службу..).

Краски Пластова

Когда первый раз я приехал в Прислониху в начале 90-х, удивлялся, что здесь особенного, думал: «Что Пластов здесь нашел?». Как можно на мировом уровне в этом скромном кусочке природы увидеть такое. В малом увидеть великое. Конечно, Пластова не превзойдешь, вроде краски обычные, как у всех. А какие работы!

Вот, например, палисадник, а сквозь него солнце! Там импрессионистам делать нечего.

Он мерял себя по меркам мировой культуры, он знал шедевры мировой живописи. А когда писал с натуры... Сидит перед ним мужичок, он его *летит* цветом и светом. И психология там и образ.

Это летопись прошлого, которого больше нет. По картинам Пластова можно воспроизвести то время. Работы его поражают, по ним можно учиться. Вот у него «Карусель», тряпки выются. У Грабаря тоже есть «Карусель». Но у Пластова по-другому. Все изображено очень подробно, но импрессионизм не исчез. Пластов был явлением. Такой летописи никто не оставил.

Летопись не только русской деревни, но и эпохи. Жизнь рядом с правдой. У Пластова документальность сочетается со свободой живописца. Жалко, что он не весь выставлен. Что много работ ушло в другие города. Пластов для меня – это авторитет, авторитет художника, который пишет правду. Он жизнь писал. Для него и для меня живопись – не скоропись, а, как сам Пластов говорил, «описание жизни».



«В Прислонихе»

Я стремился к совершенству

В армии служил в части, где была радиация. И как последствие воздействия радиации – снизилось зрение. Я всегда стремился к совершенству, и иногда думаю, что зрение мне «убавили», чтобы немного охладить запал. «Бойся совершенства», – писал Леонардо да Винчи. «Не бойся совершенства, – сказал Дали, – ибо оно тебе не доступно, да и ничего хорошего в нем нет». Оба сказали об одном и том же.

Темы и образы

Священник Алексей Скала (ныне покойный) несколько лет назад попросил меня написать икону Андрея Блаженного. Я написал для храма и еще на подарки иконы. И над «ковчегом» образ святого Андрея Симбирского написал. Святой Андрей Блаженный меня как-то заинтересовал, я почитал о нем, его житие. Серафим Саровский говорил: «Зачем ко мне вы едете, если у вас есть Андрей Ильич». Родился замысел картины об Андрее Блаженном. Икону его я писал до этого. А хотелось картину написать. Изобразил его среди горожан, на фоне храма, так, что свод храма над ним получился как нимб. В руке щепочки... Когда готовил выставку, понял, что недостает еще картины – в ряду с Андреем Блаженным. Давно задумывал и написал Серафима Саровского. На груди у него вериги, а в них вписан храм, ведь он в сердце храм носил. А в руке топорик – тоже символично, строил он церковь. А на посохе птичка сидит. Все детали неслучайны. Так его себе представляю. На моих картинах исторические личности Богдан Хитрово, Емельян Пугачев.

А Андрей Блаженный, Серафим Саровский, Пушкин, Лермонтов были современниками.

Венециановский мотив? Да, я и его имел в виду. Но хотел шире тему взять, чем видится на первый взгляд. Картина «Дедовы просторы» находится в Казанском музее, так просто ее оттуда не возьмешь. Для выставки я повторил картину с этюда. Здесь изображен дед моей жены Людмилы с внуком. Идут они по берегу Камы. И вокруг простор, «дедов простор», в котором хорошо жить и дышать внуку.

Поэт Чесноков

Знаете, как получилось? Книжечка была у меня Анатолия Чеснокова, я почитал, стихи понравились. (Анатолий Чесноков, поэт, уроженец с. Теньковка Карсунского района Ульяновской области, трагически погиб в 2010 году. **Ред.**) Я вспомнил, что когда-то видел его спящим на скамейке. Вот сначала захотел написать его так. И куст сирени. Потом попали мы в Теньковку, в село, где жил Чесноков. Там маленький его музей, фотографии, рубашечка его, ботинки такие огромные особенные, из сапог что ли сделанные... И по-другому захотел его написать. Что значит поэт! Он и вдохновляет на поэзию! И я решил, напишу его спящим в избе на лоскутном одеяле. Вот... и ботинки его. А за окнами пейзаж родной Теньковки. И деревенская муза к нему слетает. Так себе представил. И картина эта для меня на этой выставке главная!



«А.С. Пушкин»

P.S.

Вот увезли картины из мастерской на выставку. И пусто все стало. Такое ощущение есть в душе, когда сживаешься со своими работами. Они как дети у меня, они со мной разговаривают. Работы, как ковер, ты ткешь – ткешь, это ткачество повествовательное и цветное... Описание жизни.



«М.Ю. Лермонтов»

Затисала

Елена КУВШИННИКОВА

«ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА».
КАРТИНЫ СТАНИСЛАВА СЛЕСАРСКОГО



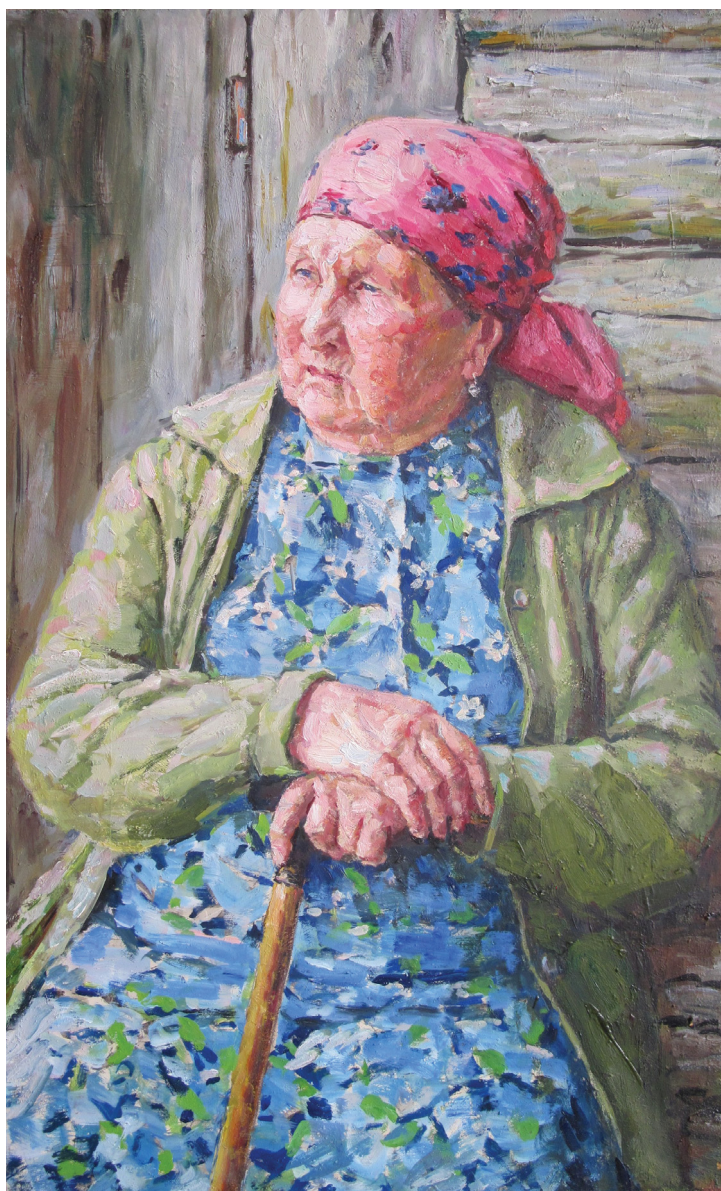
«Андрей Блаженный Симбирский»



«Пейзаж с храмом»



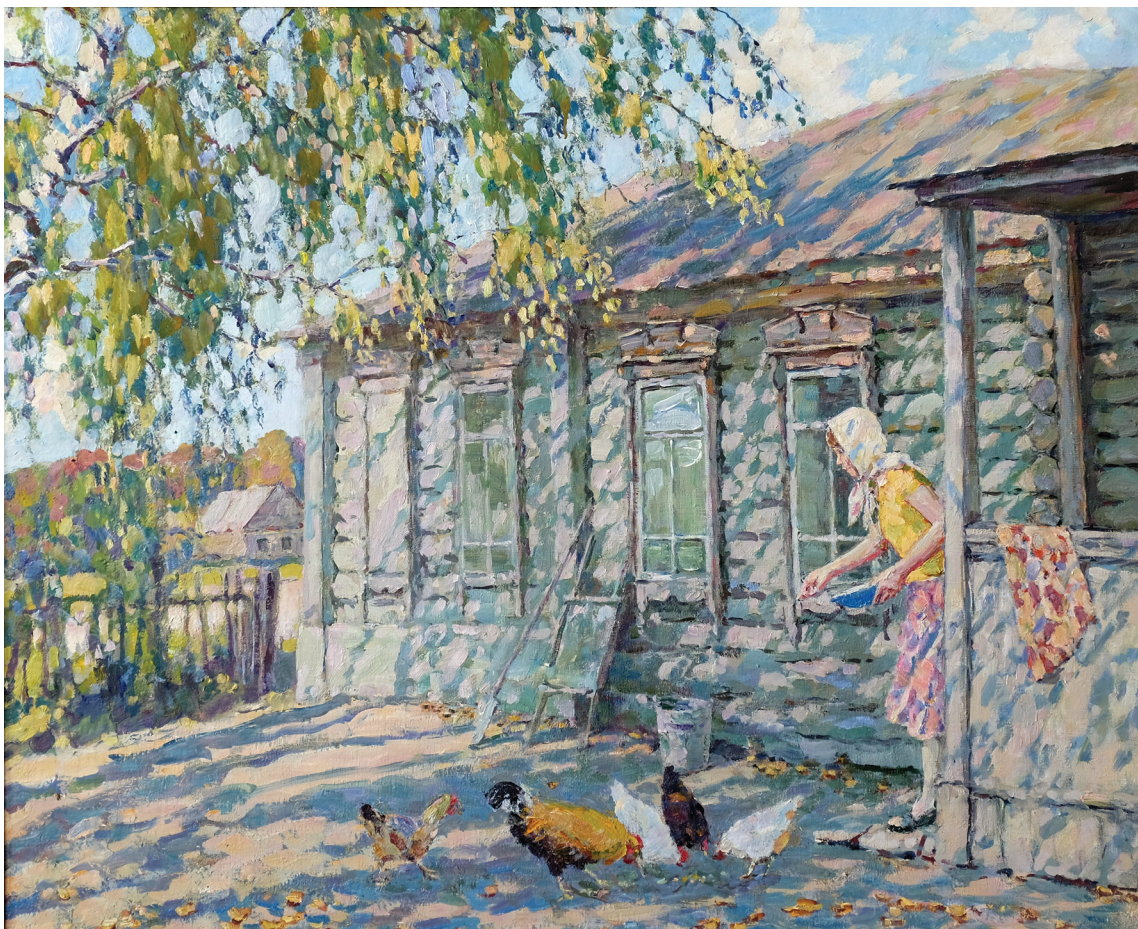
«Деревенский натюрморт»



«Бабушка Оля», 2016



«За чтением Евангелия»



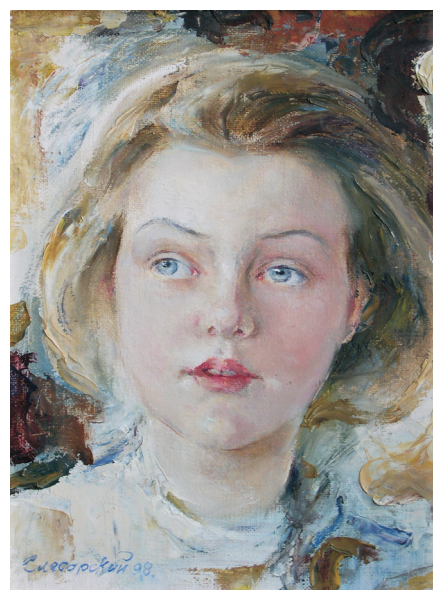
«Дворик в Прислонихе». 2015



«Баня»



Портрет дочери Зоси



«Оля»



«Сонечка»



«Люда»



«Кормилица»



«Деревенская муза поэта Чеснокова»



«Весенняя распутица»



«Весенняя тишина»



«Дедовы просторы»



«За водой»



«Карсун»



«Розовые пионы»



«Лилии»



ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА

Мы уже рассказывали об одном из самых талантливых и самобытных поэтов России – Игоре Николаевиче Григорьеве (1923-1996). Еще юношей он создал подпольную группу, партизанил, служил в разведке. Был четырежды ранен и дважды контужен. Награжден орденами и медалями за участие в Великой Отечественной войне. После войны работал промысловым охотником, фотографом, грузчиком в типографии, возглавлял в Пскове писательскую организацию, много занимался с литературной молодежью.

В этом году Игорю Григорьеву исполняется 95 лет, объявлен Международный конкурс лирико-патриотической поэзии «На всех одна земная ось», посвященный юбилею поэта.

Наш журнал вносит свою лепту в возвращение поэта-фронтовика Игоря Григорьева в контекст большой российской литературы и публикует подборку его стихотворений.

Игорь ГРИГОРЬЕВ**ЗИМА 1993**

Заплакали березы:
– Зима нас подвела,
Крещенские морозы –
Три градуса тепла.

Заледенело сердце:
В ретивом перебой –
Любовью не согреться.
– Россия, что с тобой?

* * *

В селе петушья куролесица,
Морозный дым над ним повис.
Надушенный покровок месяца
Скупые крошки сеет вниз.

Как вздох – калитки оробелые,
Как трепет птахи в кулаке.
Березам снятся ночи белые
Да пенье весел на реке.

Березам долго, горько страждя,
До лета время коротать...
А Русь везде, у пня у каждого, –
И злая мачеха, и мать.

ПЕРЕХОД*Тимофее Егорову*

У кромки старуха-осина
Хохочет, хохочет навзрыд.
Вязка ты, псковская трясина, –
И лось не опустит копыт.

К тебе и глухарь отошальный
По клюкву не смеет летать;
Кабан – вездеход одичалый –
Обходит пропащую гать.

Здесь – прямо, и справа, и слева –
Стоглазая целит напасть,
Бурчит ее черное чрево,
Разинута красная пасть.

И нету нам выбора. Нету.
И можешь не можешь – иди.
И – Судил Бог болотину эту –
Пять верст в киселе до груди.! –

Глумится ноябрьская стужа,
А избы, как май, далеки.
– Подсумки притягивай туже:
Патроны мочить не моги!

– Эй, зяблики, грейся от заката,
Лечебных грязей не корить... –
Да кто ж вы такие, ребята?
Да как же России не быть!

Хорошо с умытым полем
На заре перекликаться –

Песней росной, сердцем полным
От унынья отрекаться.

Самого себя к награде
Представлять, ядрена лапоть, –
Просто так, души заради,
Безрублево петь и плакать!

ДЕНЬ

День усеян горицветом,
Неумолчен,
Весь обвеян август-летом,
Желт, насолнчен.

До макушки спелым жаром
Промедвянен,
Хмелем ярим по-над яром
Отуманен.

Обцелован и обшарен
Ветром рыжим,
Продублен, насквозь пропарен,
Вымыт, выжат.

Был велик, расправил плечи –
Стал огромен,
Как заботы человечьи,
Неуемен.

День стремителен, как руки,
И проворен:
Сколько к полдню у излуки
Скопит зерен,

Сколько песен сложит за день,
Сладит прясел!..
Он, как песня, прост и складен,
Ладен, ясен.

День криклив, как сто бабенок
На собранье;
Он доверчив, как ребенок –
Всепризнание..

День, как ворон, недоверчив –
Зоркий, хмурый;
Сладкий пыл его подперчен
Пылью бурой.

День, как счастья ожиданье,
Бесконечен,
Он – короче, чем свиданье
В белый вечер.

День, как ласковость людская,
Необъятен,
Как хула-молва мирская
Беспощаден.

В дне и праздничный угар,
И праздник буден.
Всем – сполна: удар и дар,
Входите, люди!

Дорогие лесные пустыни,
Серой ольхи плакучий разбой.
Здравствуй, робкая былка полыни!
Мне нисколько не робко с тобой.

Неказиста трава, неприглядна,
Худосочна – и что там еще?
Мне надежно с тобой и отрадно
Опереться на дружье плечо.

Ни обиды на сердце, ни боли.
Тихий свет – от земли до небес...
Как давно мы не виделись, Поле,
Не аукались, Песельник-Лес!

Ты дубы на полянах огромнишь,
Рвешься к зорям, орел крутокрыл.
Ты меня поневоле не помнишь,
Я по воле тебя не забыл.

Будет всякое, всякое будет
В наших судьбах, таких горевых
Нас прогонят, обманут, осудят,
Нас отвергнут от зорь заревых;

Нас еще позабудут, забросят,
Опалят беспощадным огнем
И железной секирою скосят...
Только мы все равно не умрем.

Хоть чего натвори-понаделай,
Присудив доконать на корню, -
Наши корни в земле порыжелой
Не унять топором и огню.

Так давно мы не виделись, Поле,
Не аукались, Песельник-Лес!
Ни обиды на сердце, ни боли,
Тихий свет – от земли до небес.

НА ПЕПЕЛИЩЕ

Евгению Носову

При тропинке безымянной –
Куст сирени.
Под кипреем над поляной –
Три ступени.

Три ступени в чистом поле –
Как три лика:
Ни злой памяти, ни боли,
Ни полкрика.

Светят, никнут, льются травы
У погоста:
Ни тоски, ни мечь-отравы –
Время роста.

Не полынь – медынь и сладость
Обрученья.
Забутье, любовь и радость –
Всепрощенье.

Но когда гроза разыграет
На закате –

На ступенях зарыдает
Память-матерь.

Зарыдает, зарыдает –
Слезней, выше.
А закат горит, сгорает,
Гром все тише...

Мать Скорбящая из ночи
Окаянной,
Не сжигай святые очи
Над поляной.

В этой грусти беспечальной –
Не беспечность:
За тропею обручальной
Дышит вечность.

НА СИНИЧЬЕЙ ГОРЕ

Стихи стихают. Погасают дали.
С Россией распрощались журавли –
Откалялись, отпели, отрыдали,
И небу нету дела до земли.

Заваривает снежное причастье
Монах-ноябрь костлявою рукой.
Печаль и пепел. Хладное бесстрастье.
Бескровный день. Кладбищенский покой.

И не избежь зальделым кленам дрожи,
И не избыть распятие кресту.
И сумерки на вашу жизнь похожи,
И долг путь к запретному Христу.

Но это только миг, лишь промельк смутный,
Встревоженной души невольный вздох:
В глубинах нашей веры неприютной
Неугасимы ни Поэт, ни Бог.

Цветут Святые Горы вокруг Синичьей,
Как желтые венки вокруг венца.
И всех, сюда взошедших, без различий
Сам ветер причащает из корца.

В ДАВНЕМ

День – за полдень. Пахнет Русью
Долгожданною.
Я иду, задарен грустью
Безобманною.

Я иду, седой и светлый,
Растревоженный, –
В луг пригожий, в мир заветный, –
Мил дорожиной.

Вот он, детства край далекий,
Малость славная –
Берег, желтый и отлогий,
Речка главная.

Сколько лет чиста водица
Разливается,
Все бежит – не набегится,
Не умается.

Бродят аисты у брода –
Птицы-правнуки.
До чего ж сладка сморода,
Медны травоньки!

Неусып ребячья – заводь,
Внучка омота,
Где язи клевали – с лапоть,
Ряской тронута.

Мой – не клюнул: ходит в сини,
Забавляется,
Вырос – во! Меня доньше
Дождается.

ПЕСНЯ

Ходит мороз за окном,
Посохом в стену стучит.
Снегом закиданный клен
Целую ночь промолчит.

Долго катится луне,
Ясно сугробам гореть.
Что ж не заглянешь ко мне –
Песню улыбкой согреть?

Робкую песню мою,
Тихую хату в глуши.
В замороженном краю
Снеги поют. Ни души.

Над целиной – пелена,
Что там за ней? – угляди...
Наша дорога длинна,
Всякое будет в пути.

Всякое будет? Ну что ж,
Встречу, коль в двери войдет!
Вечер сегодня хорош,
Звезды ведут хоровод.

Вечер куржою опал,
Выискрил тропку и лог..
Я тебя, нежная, ждал,
В сердце носил и берег.

Радость придется забыть,
Вьюга друзей отпоет,
Но не устану хранить
Светлое горе мое.

НЕЖДАННЫЙ ВЕЧЕР

Угомонилась гулкая разлука,
Густой и долгий догорел закат.
И косари с распаханного луга
Неторопливо по домам спешат.

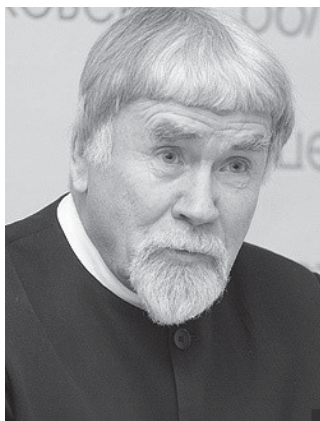
Прозрачный сумрак ласково и влажно
Окутывает землю, ночь верша.
И кто-то в полусне запел протяжно,
И песне той отозвалась душа;

Отозвалась, раскрылась, всколыхнулась –
И самому не угадать себя:
Как будто снова младость возвернулась
И в грудь вошла, теплыню прознобя.

И любо жить, и боязно от воли,
И песня в полусне, и ширь во ржи.
И кажется, немое шепчет поле:
Дыши, люби, надейся. И сверши!

*Публикацию подготовил
Александр ЛАЙКОВ*





Валентин КУРБАТОВ родился 29 сентября 1939 года в семье путевых рабочих в селе Старый Салаван Мелекесского района Куйбышевской области (ныне поселок Новочеремшанск Новомалыклинского района Ульяновской области). После войны переехал в город Чусовой Пермской области, где окончил школу. С 1962 года живет в Пскове. Работал грузчиком, корректором и литературным сотрудником в местных газетах. Окончил факультет киноведения ВГИК (1972). Литературный критик, литературовед, прозаик, академик Академии российской словесности (с 1997). Автор книг «Виктор Астафьев» (1977), «Миг и вечность» (1983), «Михаил Пришвин» (1986), «Валентин Распутин» (1992), «Крест бесконечный» (2003), «Уходящие острова» (2005), «Подорожник» (2006), «Батюшки мои» (2013) и многих других. Член Союза писателей СССР (с 1978). Секретарь Союза писателей (1994 – 1999) и член правления Союза писателей России (с 1999). Член редколлегии журналов «Литературная учеба», «Русская провинция», «Роман-газета» и др. Лауреат многих литературных премий, в т.ч. имени Л.Н. Толстого (2000), имени Павла Бажова (2007), Горьковской (2009) и Новой Пушкинской (2010).

Валентин КУРБАТОВ

НАШЕ НЕБЕСНОЕ ОТЕЧЕСТВО

Книга эта родилась из пяти экспедиций, охвативших пока малую часть святынь, сияющих в христианской истории России и мира. Она рождена порывом и любовью немногих, и ее недостаточная историческая и богословская вооруженность, наверно, будет очевидна каждому глубокому уму, знающему материал полнее нашего. Но нам не терпелось поделиться радостью открытия, не терпелось сказать о чуде живого и остро ощущимого здесь свидетельства молодости и силы христианства.

В разные поездки мы порой проходили одними и теми же местами. Мысль шла той же дорогой, но видела другое. Душа не узнавала своего прежнего переживания, потому что росла, потому что прибавлялось новое знание, и сама жизнь не стояла на месте. Дороги истории долги, и все они, если чувствовать их верно и выходить с зоркой душой, ведут нас к себе, к своему Господню образу.

Мы выходим в наше небесное отечество, чтобы вернуться к преображенному земному.

I

СТРАНА СВЯТЫХ ЧУДЕС

Господи, благослови!

Сегодня высокие облака стоят над лесом и озером. Лес греется под еще не разошедшимся солнцем, недвижно нежится, и только осина посверкивает, будто пересыпает блеск под несуществующим, одной ей слышимым ветром. Шмель возится в цветах, ворчливо перебирая их и оставляя их один за другим с нескрываемой досадой. Кукушка лениво и равнодушно пересчитывает чьи-то недолгие годы, словно откладывает их на счетах: одному столько, другому столько. Коршун лениво вычерчивает круг за кругом, как долгую мелодию дня. Озеро светится покоем и далью, подставляя себя любящим взглядам деревень, которые высыпают на пригорки, как ребятишки, и замороженно молчат, остановленные простором и сиянием высокого июньского полдня. Душа и глаз просят церкви на одном из холмов – белой свечи, которая тотчас собрала бы день и даль, а чаша озера при первом звоне ответила бы чаше неба.

Но далеко разошлись друг от друга русские деревни, все меньше изб выбегают посмотреть на свое отражение, и красота отзывается болью, как если бы весь этот ненаглядный день в облаках, птицах и водах о чем-то молил твое сердце, заранее зная, что не удержит тебя.

Мы сбегает в города, в мертвую тесноту спальных районов, в соревновательное щегольство столиц, где прекрасные храмы собирают прекрасные хоры, где блестящие мастера пишут блестящие иконы, где просвещенные батюшки говорят просвещенные проповеди. Мы крестим своих детей в домашних тазах, софринских купелях, мраморных бассейнах, озерах и реках.

Мы складываем умные общины, издаем прекрасные религиозные журналы, созываем «горячие» соборы и даже создаем религиозные партии. Но все отчетливее понимаем, что «в рабском виде Царь Небесный исходил благословляя» не эту землю. Не наши мегаполисы и растратившие свет и радость редуцирующие деревни. Даже не наши состоятельные монастыри, заходя в них только в пору становления, в годы начальной нищеты и разрухи, пока братия держится молитвой и

духом. Мы еще слышим эхо той речи и того молчания и иногда узнаем их в высоких июньских днях посреди опустевших деревень и заброшенных кладбищ, но уже узнаем с вполне книжным удовлетворением, как лестную цитату. И кажется, нам больше всего не нравится в той тютчевской цитате именно это – «в рабском виде».

Нам не прошли даром революционные гордые прописи «рабы не мы, мы не рабы» или, как толковал какой-то умный человек: «Мы не рабы, рабы нЕмы», а мы, мол, вон как разговорчивы и как умело пользуемся свободным словом.

В истории вообще ничего даром не проходит, несмотря на печальное утверждение Гаврилы Романовича Державина, что «река времени в своем течении уносит все дела людей...».

Нет, воды этой реки только подставляют грядущему зеркало, чтобы будущее училось отражаться в них без постыдного повторения, а узнавая родное как юность в старости.

В «реке времен» не будет слышаться отчаяния, только если мы однажды догадаемся, что «вечность» не бездонная яма, пожирающая несчетные поколения, а Божий день, полный света. И каждое новое поколение есть малая черта общего Лица, общего Господня образа, который не дан нам Богом в завершении, а создается в сорадовании и сотворчестве с Ним всеми нами, пока не будет проповедано Евангелие во все концы Земли и мы не сойдемся с Богом как с Первообразом в полноте черт и не сбудемся и сами не станем Вечностью. Мы идем в истории не вперед, а как круги по воде – во все стороны, пока не зайдем границы мира. Или, вернее, как кольца на дереве – где уже, где шире в зависимости от плодоносности веков, каковая уж зависит от нашей свободной воли. Историческая усталость иногда провоцирует нас повторить какую-то часть пути, которая была плодотворной, но Господь не зря зовется Творцом не в прошедшем времени. Он – Творец всякий час, в вечном настоящем, и ждет от нас того же, не принимая, хотя бы и лестного, повторного шага и механического, хотя бы и внешне уверенного, шага, каким мы идем

сегодня в церковном строительстве, страшись посмотреть на глубину результата, на творческую полноту духовного развития.

Я думаю об этом в благословенный день конца июня в северо-западном углу России перед просторной чашей озера, которое нежит в себе синеву небес со всеми облаками, и перебираю, перебираю в памяти счастливые поездки к истокам родной веры, в страну, которую мы менее всего отождествляем с этой верой и на которую не ссылаемся даже в самой историко-объективной религиозной литературе. Она ворвалась в мое сердце случайно. Как случайно в человеческой жизни все – от часа рождения до часа смерти. Закономерна только сама жизнь, а не события в ней. Византии просто пришла пора, а уж какие там столпились обстоятельства и как они строились – это забота жизни.

Наверное, дело в том, что что-то стало слабнуть в моем православном стоянии. Появилась не то что усталость, а привычка: приходит суббота – надо ко всенощной, приходит воскресенье – к Литургии. Отстоял, даже почитал по послушанию, а душа молчит.

И в исповеди быт переберешь, а про главное и не знаешь как сказать – про эту опасную привычку.

Про то, что при причастии сердце не горит. Про то, что у тебя уж будто и не вера, а одно умозрение, которое ты при случае легко изложишь и даже сомневающегося брата ободрить, а только прежнего тревожного чувства, в котором мешались полет и сомнение, сухой жар и слезы, готовность и ясность, уже в себе не почувствуешь. Надо возгревать себя чтением, множить книги. На минуту окрепнешь, вспыхнешь от точного примера, от глубокой чужой мысли, сильного образа – и опять под защиту привычки.

А это уж не служба, а обман. Это ты уже не перед Богом стоишь, а перед общиной и батюшкой и перед простой дисциплиной. Наверное, временами оно можно и даже нужно так, потому что Церковь – это вы вместе, и если в тебе сердце молчит, то в этот час оно говорит в другом, и он братски покрывает тебя своим небом, как в другой час ты покрываешь его молчанием своим. Но когда ты перестаешь слышать покров братской молитвы, когда немота твоего сердца затягивается, когда книги смолкают, надо брать дорожный посох и выходить в путь. Надо оставлять стены быта и повседневных обязанностей, которые имеют обыкновение заслонять звезды, и оказываться в поле, чтобы под ногами была дорога, а над головой небо. Храм по-настоящему – это всегда путь, и каждый день он ведет кого-то светлой дорогой, которой уходил в небеса со своим Спутником булгаковский Мастер, или просто поднимает с колен изнемогшее сердце слабого и опускает на колени негнувшееся сердце гордого, и это краткое движение оказывается длиннее иных многолетних путей. Очевидно, это бывает в свой час у всех людей и на всех континентах, потому что, дописав эту фразу, я немедленно вспомнил Измаила из мелвилловского «Моби Дика»: «Если ты начинаешь ловить себя на безотчетном желании сбивать шляпы с прохожих, тебе пора подниматься на палубу корабля...»

Во все глаза

Первая реакция, когда хвалишься друзьям, что съездил в Турцию иронична: «И чего привез?», и уж

чуть не опаска: не начнешь ли ты ему навязывать свой турецкий товар. Поневоле замолчишь.

А между тем мне действительно хочется навязать этот «товар», потому что каждая минута первой поездки года была чудом, устыжающим открытием, нечаянным уроком, духовным даром. Группа была собрана одним добрым человеком для того, чтобы разведать дорогу в Миры Ликийские, где служил Святитель Николай, и, может быть, наладить туда паломнические поездки из прихожан русских Никольских храмов, чтобы, с одной стороны, способствовать воскрешению не чужого нашему сердцу храма в Мирах, а с другой – выкраивать средства и для возрастания своих остро нуждающихся церквей.

Эта экономическая сторона, как, впрочем, и богословская, была темна для меня, и в этом смысле я был, пожалуй, отличной моделью обыкновенного прихожанина, который был движим благочестивым желанием поклониться святыне, не очень представлял ни страны, куда еду, ни полноты ее общественной, ни христианской истории. Был в группе и молодой священник Никольского храма на Истоке Волги, сделавший у себя много доброго именем Святителя и горевший желанием помолиться у его гробницы и походить по земле, освященной стопами любимого русского святого. Он представлял ситуацию не более моего, и в этой неизвестности было определенное очарование. Нам выпадала счастливая возможность путешествия, чья цель была нам известна, а путь неведом, и надо было держать глаза открытыми. Наверное, поэтому мне все теперь представляется одинаково важным, ибо главным оказывался именно этот путь. И я заранее прошу прощения у читателей, если мои воспоминания о поездке покажутся им очень раскидистыми. Куда денешь любопытную, все не изжившую детства душу, которая в чужой земле разгорается доверчивым интересом ко всякой новизне.

Уже ночь над Стамбулом была прекрасна, река огней сияла вдоль Босфора, и этот сверкающий, ликующий драгоценный поток все не хотел кончаться, словно мы не летели, а катили вдоль него на неспешной небесной колеснице. Река была золотая, горячая, убранный алмазами белых огней, и сам просился на язык бедный пушкинский Барон в час торжества:

«Я царствую! Какой волшебный блеск!».

Пока садились, уткнулся взглядом в спинку переднего кресла – скучающей рукой была выписана вся родная география: Архангельск, Никополь, Кострома, и тут же – «Ахмет + Тамара». Люди живут в самолетах, и Стамбул им не новее Костромы.

Это было сразу видно в таможенном зале. Никак было не представить отчаяния булгаковских беглецов, ужас изгнания и низвержение смысла истории и жизни для маявшихся здесь после революции героев «Бега». Уверенные, смешливые, громкоголосые молодые люди бросали паспорт контролю не глядя, уверенным жестом новых хозяев и уже спешили к известным им дверям и транспортам: работа, конвейер, подлинно – челноки.

Да и нам надо было спешить: через час с другого конца города уходил последний автобус в Анталию, к Средиземному морю, через всю страну. Ночной город торопился показаться низкой застройкой, страшной теснотой, наглой роскошью небоскребов, вечным столичным праздником и рабочей повседневностью.

Стремительно пролетел над бездной Босфора мост из Европы в Азию, сверкнули на минуту вдали такие узнаваемые, Бог знает как с детства проникающие в сознание тяжелые купола Софии в злых иглах минаретной стражи, и уж вот – Азия, раскинувшийся на полсвета вокзал, где, когда бы не сопровождающий человек, легко было сгинуть навсегда как в чреве китовом.

Наш автобус уже стоял в очереди других, и кипела вокруг не по ночному времени шумная молодая толпа в турецких флагах и каких-то бодрых ритмических лозунгах – оказалось, юноши уходят в армию. Они счастливы, трезвы, горячи. Матери и возлюбленные не смеют плакать, потому что для юношей служба – честь и гордость, хотя тайком, конечно, матери вполне по-нашему прижимают руки к щекам.

Потом мы часто будем в разных поездках миновать военные части, и на горах, как у нас в старое время, будут выложены светлым камнем огромные, видно, небесному взгляду назначенные декларации: «Мы сильны, мы единственны, мы не боимся!»

Или: «Я счастлив, что я турок! Ататюрк». Ататюрк будет охотно встречать нас в каждом городе и селении – в цилиндре, бараньей шапке, с непокрытой головой, в пальто и генеральском мундире: собиратель республики, ее гордость и слава, и будет видно, что это любовь живая и искренняя. Нам повезло: могли прилететь прямо в Анталию, но туристический сезон отошел, и самолеты стали невыгодны. И вот – автобус, и вся страна с севера на юг. Добрый стюард приносит кофе, чтобы ты мог ободриться, и ты увидишь над собой новое небо и вдруг засмеешься, увидев опрокинутый «на спину» месяц.

Эта алмазная лодочка будет плыть в ночи, поднимаясь все выше и заглядывая на поворотах то в одно окно, то в другое, и ты так и не перестанешь улыбаться неожиданности этого ракурса. И потом, выходя каждое утро к морю, будешь видеть его с малой звездой над ним и поневоле уважительно думать об авторе турецкого флага, который взял эту звезду и месяц в национальные символы, так что турок, поднимая глаза к небу, видит свой флаг и понимает, что он дома и что его небо благословляет его.

А земля прекрасна, пустынна, выжжена до звона. Встает за горами солнце, и вершины наливаются внутренним жаром, сквозят и мглятся, и с каждым поворотом дороги все раздвигаются дальние занавесы бесконечного утреннего Господня театра.

Оливковые рощи, россыпи черепичных кровель по низинам, сухой слепящий блеск известняков – все полно света и сияния молодой осени, как у нас в ре-

деющем воздухе начального сентября. Про стоящий на дворе декабрь приходится забыть. Глядишь во все глаза, и потрясенная душа, еще вчера измученная неуютом мокрого снега, тяжелой слякотью неустановившейся зимы, по-детски хватается за все, торопясь немедленно увести в домашние рассказы и веселые южные городки, и прекрасные озера, с которых взлетают тысячи, поди, наших, соблазненных зимним теплом, тверских и псковских уток, и щегольские автостанции с лавочками, зазывающими рахат-лукумом, и с непрерывной малой мечетью для правверного шофера.

А там горы начнут подниматься на цыпочки выше, выше и вдруг раскатятся нежданно ровной долиной в химической зелени как будто искусственных пальм, в нестерпимой яркости цветов, в россыпи каких-то одухотворенных, словно рукодельных, камней, и скоро во весь горизонт – сияющая, черепично горячая, сухо белая, яркая Анталия – и сразу роскошь, нега, субтропики, море...

И тут-то я и понимаю, что если следовать каждому дню все с той же жадностью детства, то главная мысль и важнейшее потрясение поездки растворятся в чистоте Средиземных, а там Эгейских и Мраморных вод, в синеве финикийских и лидийских небес,

в темной глубине великой истории, ибо под нашими ногами затягивались травой и кустарником руины Олимпоса и Лаодикии, Иераполиса и Афродисиаса. Слух закроется горячей музыкой зурны и барабана, под которую бились боевые верблюды Испарты и Измира, и страстный медным и струнным, плавающим, текущим, недвижимым рыданием и ликованием муэдзинов. И, значит, надо смирить нетерпеливую, перебивающую себя память, закрыть эти волшебные сундуки, оставив одну беспокойную мысль о душе посреди теряющего себя мира со сбитой системой координат. Тогда внешне случайная поездка обнаружит свою закономерность. Во всяком случае для моего христианского сознания, и в очередной раз напомнит, что чудо ходит в одеждах повседневности и здравого смысла.

Мы ехали побыть в Мирах, помолиться, если удастся, у опустевшей гробницы Святителя, освятить свои иконы на престоле его храма, навестить город его детства, а страна сама заторопилась показать и другие святыни, родные православному сердцу, чтобы даже глухой слышал, наконец, о чем они напоминают и от чего остерегают.

Конечно, вначале мы и устремились в Миры, и, слава Богу, нам разрешили послужить там, и батюшка оставался там два дня, не покидая храма и ночью в молебнах, акафистах, обедницах. Я разделил с ним



Служба в храме св. Николая в Мирах

малую часть этих служб и вряд ли сумею передать это смятенное чувство радости и горечи, благодарности и печали. Мы скликали в молебнах всех родных и близких, живых и мертвых, чтобы вместе встать в этих колыбельных стенах, заполнить этот немой простор, напомнить этой выси, этому амфитеатру горного места, этим ничего не поддерживающим колоннам полтора столетия назад звучавшую здесь русскую молитву, когда княгиня Голицына выкупила эту землю, надеясь укрепить здесь русскую общину. Но близилась турецкая война, грамотные здешние идеологи услышали горячий голос русского славянофильства, звавшего крест на святую Софию, и поторопились расторгнуть договор, отговорившись некачественной реставрацией храма.

Встреча

А шестого декабря, в день памяти Святителя, в храме служили Литургию православные греки. И мы, не боясь разойтись в языке, потихоньку пели с ними по-своему «Правило веры» и такой чудно слышный здесь кондак «В Мирех, святе, священнодействитель показался еси...», и теплили свои свечи у гробницы, чей мрамор был осыпан цветами и где читали на разных языках акафисты и молились о своих горестях, норовя коснуться гробницы ладонью или лицом, одинаково печальные на всех концах земли женщины.

Греки служили сноровисто и привычно, не смущаясь набившихся в неогражденный алтарь телевизионных операторов, пытавшихся на «Верую» заглянуть и под «воздух», чтобы подсмотреть таинство пресуществления даров. Малый хор пел с непривычной переливной гортанностью, и поневоле вспоминались муэдзины – южная кровь и вековое соседство диктуют близкие гармонии. Мы видели эту греческую общину накануне.

...Приехали к ночи посмотреть руины некогда великого Олимпоса. Там гора уже не одно тысячелетие поражает пробивающимися из скалы «олимпийскими» огнями. Там посреди подступающего к морю леса, как снесенные ураганом деревья, валяются бело-мраморные колонны храмов и мешаются с камнем гор осыпающиеся ступени театра и форума. Еще сотня лет, и они станут с природой одним телом – «земля еси и в землю отыдеши».

А на берегу, на уресе волн вдруг увидели под скалой небольшую группу людей. Свечи горели в руках и на камнях, выхватывая из тьмы то рукав золотой ризы, то навершие епископского посоха, то край образа. Молитвы за шумом моря слышно не было. Когда мы подошли, служба уже кончилась. Епископ благословлял всех освященным хлебом.

Мне было легко подойти под благословение, потому что это родная материнская православная церковь. И епископ не смутился чужим общине человеком. Ему было довольно, что «ортодокс», что «руссо». Были с ними и образ Святителя, и частица мощей. Они молились здесь, под скалой, недалеко от руин церкви, затянутой лавром до того, что уже не найти алтаря, и срывали по веточке в воспоминание о славном Олимпосе, о былом величии, о своем храме, бывшем под попечительством Святителя. И торопились к автобусу. Так что в Мирях мы уже кивали друг другу как старые знакомые.

Служба отошла... Собрали иконы, сложили обла-

чение, кто-то из священства уже потянулся к мобильному телефону. Храм опять на год оставался в руках археологов и туристов да, даст Бог, редких случайных православных священников (скорее из тех же греков), кто сочтет святым долгом, как наш батюшка, послужить молебен и удержать здесь эхо молитвы подольше. А мы, на минуту взглянув на прекрасный римский театр и на устремляющиеся над ним, как последний небесный ряд зрителей, несчетные гробницы некрополя (и из последнего приюта римлянин хотел досмотреть гордые представления своих лицедеев), ехали в маленькую приморскую Патару, где Святитель Николай родился и вырос.

Обточенные временем серые камни в колючих кустарниках, сквозь которые не пройти метра, не изорвав себя в клочья, как черепа и кости культуры, как останки какого-то людоедского пира времени, дикая старость земли, почти ветхость, но, как бывает в стариках, за рубцами морщин и страшной географией лица – какая-то глубокая, уже невыразимая словом мысль, как грозная загадка, которую ты разгадаешь или такой же ветхостью лет или самой смертью. И так пойдет до самой Патары – стада коз при дороге, черных с витыми рогами в стороны и в походке чем-то неуловимо напоминающих турчанок, будто в таких же шароварах идут. Малые пятячки полей с носовой платок, разнящихся от не полей только тем, что камень на них мельче, – борьба за жизнь, а не поле. Тут же хижина пастуха, корова, непременно одинокая маслинка посреди этого платка земли, чтобы еще украсить ее. Горы все выше, автобус почти переламывается пополам – так круты ежеминутные повороты – роскошные бухты в островах – вон тот уже греческий – Милес, но мы едем все дальше и оставляем его за собой. Сосны на камнях размером в ладонь или от силы до колена, но им по сотне лет – тоже бьются за жизнь. Тарелка антенны в деревне соседствует с гробницей времен Веспасиана.

Время стусилось в медовую тяжесть. В деревнях заготавливают дрова – самшит, эвкалипт, оливу – всего понемногу, благо и зима недолга. Здесь не знают, что такое снег и температура ниже 15 градусов тепла.



Патара. Руины храма на месте дома, где родился св. Николай

Патара встречает гробницами и Триумфальной аркой времен Тиберия или Траяна, через которую

проходили апостол Павел и дядюшка Святителя Николая, заметивший в еще юном племяннике свет и целомудрие старца и поставивший его в пресвитеры со словами: «...вижу новое солнце, восходящее над концами земли, которое явится утешением для всех печальных. Блаженно стадо, которое удостоится такого пастыря». Храм, где, может быть, совершалось это поставление, был неподалеку от Траяновой арки. Сейчас его руины еще доживают потерявшие счет века при дороге, ведущей к морю мимо Веспасиановых бань и Адриановых складов, утопая в жалящих, колющих, рвущих в клочки терниях, продравшись через которые, увидишь колонны и капители, медленно поглощаемые землей и кустарником.

Каждый черепок под ногами, каждый обломок мрамора глядит сверстником Святителя, и рука сама тянется поднять их, но молодой археолог предупреждает не трогать. «Мы тоже любим Патару и Святого Николая. И всему еще придет время». Отец Валентин с сожалением возвращает камни на свои места. А я думаю: что дороже – наука, разумная бережность археологии, нумерующей каждый камень, чтобы потом выставить его в мертвых витринах музеев вечного прошлого, или порыв верующего человека, который на этом увезенном камне созиждет церковь и наполнит ее духом и жизнью и устремлением в будущее?

На агоре как раз лучше всего видишь результаты археологической «бухгалтерии»: камни времен Александра Великого и Птолемея поставлены в стены вверх ногами – не то по равнодушию, не то в историческую отместку, коровы раскладывают свои лепешки на исчерченные торжественной латынью мраморы, а сама агора уходит в болото, и там нежатся в теплой воде тритоны и оскальзываются с поверженных колонн лягушки.

А сердце все равно торопится обнять эти выглаженные тысячелетиями камни, потому что, не видя, за что еще уцепиться воображением, и здесь рисует Святителя, торопящегося ночью спасать от бесчестия дочерей несчастного отца, подбрасывая им деньги, чтобы эти патарские девушки могли выйти замуж.

И католическая и православная иконография особенно любят это неоспоримое предание и пишут в каждой картине и образе. Ну, у нас понятно – всяк вспомнит своего Николу, потому что он глядел из каждого красного угла от дворца до нищей хижины. Но и у католиков. У Джентиле да Фабиано в «трех компартаментах приделов со сценами из жизни святого Николая Барийского для церкви Сен Никола во Флоренции» Святитель молод и ловок и бросает золотые шары в окно девичьей спальни, привстав на какие-то «ящички». И он так же юн и неузнаваем у Беато Анжелико, когда кладет уже не шары, а кошельки трем спящим в одной постели девушкам, рядом с которыми сидя дремлет няня или служанка. Вообще Никола нежно любим итальянцами треченто, вскормленными великой культурой эмигрировавшей в Италию после взятия Константинополя Византии, где он в полном католическом епископском облачении у Джотто даже печалится у Распятия вместе с Девой Марией и Иоанном. И его наперебой пишут Марио ди Нардо, и Бернардо Дадди, и Паоло Венециано. А у Тициана он хоть и в том же католическом облачении в «Мадонне ди Сан Николо деи Фрари», но уже вполне «наш» – таков, каким его принято писать по нашим лицевым

подлинникам, – «взлыз, плешив, на плечи мало кудреца». И он таким и ходит в клеймах великих русских икон древнего письма по агоре Патары на добрые свои дела, потому что «священный реализм» мудрее реализма житейского и знает, что правда не в фотографии лет, а в истинствовании, в том, что «образы суть... вещание добродетелей, изъявление крепости, мертвых возживание, хвалы и славы бессмертие».

Он таким и приехал с нами на свою родину в освещенных отцом Валентином в ночной службе сегодняшних патриархийных иконах, которые мы предполагали дарить и здесь, в Турции, и домой увезти от святительского Престола. И в старом медном литом образе XVIII века, который я захватил из дому с тою же целью – побыть с этим образом на родине Николы и потом чаще делить с ним воспоминания о Патаре и Мирах. Ну и, может, не без той мысли, чтобы Святитель «лучше слышал» малые мои домашние просьбы о «крепости и возживлении». Потому что как ни знай умом, что образ не есть сам Никола, а только дорога к нему, напоминание о первообразе, опора души, не достигающей полноты без помощи воображения, а все-таки никуда своего простодушного язычества не денешь и непременно поймашь себя на том, что просишь помощи у иконы, у этого именно образа, и кажется, порой просто подольщаешься к нему.

И я рад, что мы съездили вместе и что медный мой образ, все хранит на себе тепло вечернего солнца. И я вижу за ним и руины храма в неистовых самозащитных терниях, и Веспасиановы бани, и перевернутые камни агоры, и горячую стерню сжатого поля, и вполне «русских» коз, норовящих боднуть тебя в ответ на слишком смелые похлопывания по бокам.

И все слышу, как отец Валентин, преклонив колена на патарском песке у моря, доверчиво просит Святителя помочь России в тяжелейший ее час, говорит о любви к нему в русском сердце, и видно, что явственно слышит здесь его присутствие.

Конечно, театры, гробницы, бани веспасиановых времен и арка времен Траяна выходят к приезжему человеку первыми. А базилику византийскую даже не всякий гид покажет, хотя она тут же при дороге, да к ней не подойти – колючие кустарники со страшными шипами затянули храм и берегут от праздного человека до времени, пока дойдут у археологов руки (как всегда, после театров и бань) и до него. Но русского человека, конечно, не удержишь. Мы забираемся внутрь, где уже просто не продраться, где обломки колонн и капителей, фризов и сводов как пали под ударами стихии и истории, так и лежат в терновом венце всякая на своем месте – только подними. И батюшка тотчас уверяет себя, что именно здесь служил дядя Святителя и что сам Николай мальчиком здесь же нес послушание чтеца, и радостно поет «Величание». Что-то в этом одиноком прославлении было родное, наше, из недавней поры нашей Церкви, когда мы сами себе были языческим Римом на месте «Третьего Рима» и сами себе варварами, сеющими руины на месте святилищ, и так же одинокие священники пели иногда среди волчцов и терний сопротивляющееся смерти «Величание». Как бы хотелось, чтобы и здесь понемногу христианские святыни не то что выходили вперед, а хоть не очень отставали при воскрешении от терм и стадионов, палестр и бань. Это могло быть, когда бы русские паломники помнили,

что это земля их славы, их предания, их веры, их небесных покровителей и учителей.

А то ведь вот гиды жалуются, что как узнает русский турист, что там, куда его зовут, нет ни пляжей, ни развлечений, а есть только великие памятники и византийские храмы, так и не едет. Скучно ему. «Дома на руины насмотрелся», – говорит.

Каждый день – урок

Вообще, похоже, мы не разглядели эту страну с репутацией оптовой поставщицы ширпотреба или в лучшем случае изгнаннической «русской столицы» пореволюционных лет. Как будто русский человек дальше Константинополя не заглядывал и слыхом не слыхал, что это земля не одних Константина и Елены и святой Софии, а родина самой нашей веры...

Ну, положим, дома об этом и немудрено не знать – мы все в Церкви больше дети предания, чем школьного знания, домашнего благочестия, чем богословия. Но там-то, там, когда все – открытие, когда каждый шаг – научение зоркости: ведь там все – первый день, все – начало!

И как же неожиданно много открывается тебе в малых, сметенных временем городах, как приближается, «воплощается» евангельская история и апостольские «Деяния» и как вразумляюще и остерегающе для ума все, что ты увидишь. В Антиохии Писидийской, где пламень проповеди апостола Павла явился впервые, храм плодородной Кибелы зримо обнимается и поглощается храмом Августа. Когда же приходит пора христианства, уже церковь Павла встает в колоннаде Августова храма, чтобы противостоять и Кибеле, и Августу, не разглядев в горячем движении времени, что церковь Христова не соревнуется с предшественниками, а зовет иное небо и иную землю. И вот теперь колонны трех храмов смешались в горькой пыли в одно тленное тело.

Эта же мысль будет мешать тебе в Иераполисе, в храме апостола Филиппа. Храм этот так высоко, так отдельно парит над Иераполисом, над черными кипарисами, окружившими внизу гробницы, как «остров мертвых» Беклина, что никак не укоришь его в посягательстве на землю чужих богов.

Но все-таки Бог знает как, сразу видишь, что он помнит о городе внизу, о его имперском размахе, и догадываешься, что его «прихожане» (еще не ведавшие этого понятия) были детьми этой, этой властной традиции и они не приняли бы бедного храма и не позволили бы только принятому ими Спасителю уступить артемидам и аполлонам в красоте и мощи парадного облика.

И, наверное, они и сами не сразу смогли бы объяснить, почему они, стоявшие здесь с благодарностью, передают своего вчерашнего учителя и по первому разрешающему слову Веспасиана гонят и убивают апостола. Да потому, что кровь еще текла мерно и тяжело, как у Суллы или Помпея, и искала земных побед. И даже в том, каким образом гонят эти римские провинциалы учеников Филиппа, видна еще дикая молодость жестокости и коварства. Мучители и тут будут искать театра, искать «зрелищ» и будут «отважно» входить в грозную, запертую для горожан пещеру, где испытывалась «правота свидетельства» (если прав – выйдешь живой, если нет – останешься там). «Отвага» была труслива, ибо, входя в эту природную «га-

зовую камеру», они, зная, что их там ждет, закрывали за дверью лицо приготовленной маской и выходили невредимыми. А ученики были беззащитны, не зная о тайне пещеры, и оставались там.

Как было после этого не ликовать «исповедникам» Аполлона и Зевса! Мы подойдем потом к этой пещере, взятой в решетку, и увидим, как точится изнутри вода и в лужицах, сверкающих в утреннем солнце, лежат воробьи и синицы, испившие этой мертвой воды, – история на минуту поднимает веки, и взгляд ее тяжек.

А в Лаодикии («И Ангелу Лаодикийской церкви напиши... ты говоришь: «Я богат, и разбогател, и ни в чем не имею нужды», – и не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг...») уже ничего не высится над горизонтом. И только выветривается и крошится от зноя театр, и поглощается песком Веспасианов стадион и гимнасий Адриана, да проходит несколько державных шагов аркада акведука. И ничего – от «ни горячей, ни холодной» церкви, которую (в пору палящей веры в завтрашнее живое возвращение Спасителя) уже корил апостол, суля Господними устами извергнуть ее из уст за расслабленность веры. Пустыня, не раз вспаханное поле, на котором что ни камень, то осколок мраморной облицовки, то ручка амфоры, то ступень форума, и где-то здесь и бедные камни извергнутой Лаодикийской церкви – поле, засеянное историей, на котором всходит одно забвение.

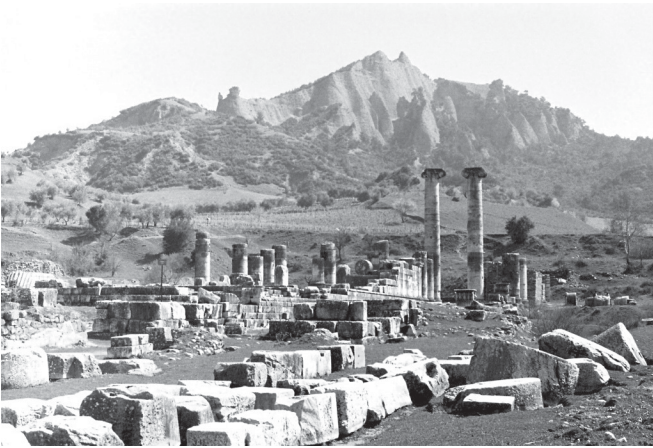
Их хочется описать все, потому что они, кажется, для того и сбереглись, чтобы мы услышали их урок. В одном месте проглядишь, в другом все равно прозреешь.

В Эфесе с его царственными тенями Александра и Лиссимакха, с памятью о Гераклите и Фалесе, учивших здесь, с храмом Артемиды, на который посягнул Герострат, кричавший в горячей ночи свое имя, чтобы хоть так не пропасть из истории (так разожгла империя в своих гражданах обезумевшее честолюбие), ты с гордостью и беспокойством отмечаешь, что церковь апостола Иоанна занимала 110 метров в длину. А церковь Девы Марии и вовсе 260. Ромеи все оставались римлянами и христианские императоры все императоры, чтобы в размахе достичь небес. И теперь великие камни христианских базилик сравнивались в археологическом своде и музейной памяти паломника с камнями храма Сераписа и гонителя христиан Домициана, с камнями ворот Геракла и библиотеки Цельса.

Нам удалось послужить молебн в храме Девы Марии, использовав вместо престола стоящий в алтаре остаток колонны. Солнце сияло, святая вода сверкала алмазной россыпью, было счастливо и звонко в душе, и хотелось побыть подольше в этом согласном свете души и дня, дожидаться, когда дрогнет сердце от прямого отзыва стен, видевших отцов Третьего Собора, отстоявших в Деве Марии Богородицу от ереси Нестория и помнивших твердого епископа Марка, в одиночестве устоявшего против Флорентийской унии и удержавшего Церковь. Для этого только не надо было оглядываться на эти 260 метров, теряющихся вдали. На этот осыпавшийся мир святых камней, который нельзя было покрыть никаким голосом, а можно было только обойти и огладить с прозревающей любовью и укрепляющимся пониманием, что величие и величина не только не совпадающие, а часто

и противоположные понятия.

Это особенно было наглядно в Сардисе («И Ангелу Сардийской церкви напиши...»), где храм неизменной Артемиды (Малая Азия – это ее земля, и мы еще не раз столкнемся с ней) уходил в небеса чудом белейших колонн. Часть капителей стояла рядом, и они были в рост человека, и на белизне их холодного неуступчивой рукой первых христиан какими-то остриями тоже были начертаны повсеместные здесь «партизанские» кресты как свидетельский подвиг. Во времена Константина христиане попытались занять это гордое «капище» для молитвы. Но кончили тем, что построили рядом малую византийскую церковь самого русского человеческого вида и объема (поставь там две Артемидины капители, и негде будет повернуться), и это чудесное соседство уже не страшило и не унижало их, а лучше всего давало почувствовать счастье и победу Христовой бедности над самоуверенной гордостью земного владычества.



Сарды. Храм Артемиды

И не зря здесь было так хорошо открыть Апокалипсис на сардийской странице и прочесть: «Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежду своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны...». Этот малый храм, очевидно, вмещал этих «несколько человек», и оттого в нем так легко было тотчас почувствовать себя дома. И больше уж ни в Пергаме, ни в Филадельфии с их страшными стенами, вызывающими в памяти безумные «тюрьмы» и «замки» Пиранези с их кирпичной агрессивной циклопической мощью, норовящей даже в руинах раздавить землю своей тяжестью (как страшное заслоняющее мир слово «тут», которое норовит навсегда загородиться от пугающего света слова «там»), – нигде не почувствуешь этого домашнего отзвука, этого родного привета подлинной православной церкви.

Там, в Филадельфии, ангел говорил о власти над язычниками и что они «как сосуды глиняные сокрушатся», но сокрушатся только теми, «кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца». Только кто их соблюдает? И вот римские и византийские руины упираются в небо страшными немymi каменными воплями о помиловании, а рядом весело играет огнями по случаю рамадана мечеть и тянутся на крик муэдзина женщины, которым рамадан открывает двери вместе с мужчинами. И никто из них привычно «не видит» этих ужасающих руин. Как «не видят» их в шумном,

бегущем, снующем, кричащем Пергаме, где мусульмане моют ноги перед входом в мечеть из кранов, вставленных в римские и византийские мраморы, приспособив под мечеть часть храма.

Куда, куда канула великая слава и могущественное Слово, которые вековечнее камня и железа? Как могло оно выветриться скорее мраморов Рима и Греции, словно не здесь родилась Церковь, обнимающая сегодня половину мира? Не оттого ли, что она прошла здесь самое тяжелое испытание соревнованием с земными религиями, расточив в противостоянии свое высшее небесное, не в камне хранящееся существо, повредив самое дорогое – целостное тело Церкви, подставив его под удар политических притязаний, хотя бы внешне одетых в форму религии, что уже было видно в Эфесском же, но уже «разбойничьем» соборе, так и не утвердившемся в качестве Вселенского, но уже понуждавшего солдат окружать храм во избежание столкновений.

В Никее как еще вздрагивает сердце при виде такой же по-человечески, «по-русски» родной Софии, где на Первом Соборе начинал складываться «Символ веры», а на последнем нам возвращалась икона. Как тотчас вспоминаешь здесь родные Софии – полоцкую, киевскую, новгородскую!



Храм св. Софии в Никее

Как с удивлением видишь – вот какое православию мы принимали! Эту строгую мерность, эту возвышенную ясность и чистоту, эту царственную гармонию, которые так слышны еще в древних храмах Новгорода и Владимира. А эту праматерь наших храмов обегает хоровод магазинчиков, перекрикивающих вывесками: купи, купи, купи! А храм уже на три-четыре метра ниже городка, и крик вывесок летит прямо в храмовые окна, в покойную тишину, хранящую память о днях, когда император Константин при открытии Первого Собора читал здесь царственные Вергилиевы строфы, предугадывающие рождение Богомладенца.

Здесь, в Никее и Никола был другим. Два первых месяца собора 325 года были, наверно, всех трудней, но зато и утешительней для Мирликийского епископа... «Земледелец, истреблявший плевелы неверия, архитектор, воздвигающий церкви Христу, зодчий духа, воин, препоясавшийся истиной и облекшийся в броню праведника» (так звал Святого Андрея Критский) он успел узнать за эти месяцы и заточение, и славу.

Простое сердце, защищавшее веру верой, а не красотой умозрения, он, вероятно, страдал, слушая,

как борются с еретическим умником Арием – схоластом, поэтом, ритором – другие участники Собора, стараясь одолеть ученость Ария еще большей ученостью. Он лучше других видел, что тонкости в делах веры опасны, потому что слово – инструмент хрупкий и податливый и, начав за здравие, как раз кончишь за упокой. И смутившая отцов Собора резкость, когда он ударил Ария по щеке, на самом деле и не резкостью была, а опытом приведения в чувство и самого Ария, и остальных епископов, готовых утонуть в словах. Таким простым способом слову возвращалась первоначальная ясность смысла. И короткое заточение Святителя за этот резкий поступок, и триумфальное возвращение на Собор были шагами трезвения и общего духовного укрепления, возвращения здоровой системы координат. Ведь и Спиридон Тримифунтский, как говорит одна из легенд, на этом Соборе, вступая в спор с изощренными перипатетиками, поддерживающими Ария, тоже пользовался для доказательства двойной природы Христа не неустойчивым словом, а, сжав в крепкой руке кирпич, из которого в одну сторону брызнула вода, а с другой вспыхнул огонь.

...Площадь вокруг Софии декорирована цветами и фонтанами, и старые мраморы, где с одного светит крылами серафим, а с другого взывает к памяти греческое, тотчас читаемое «Христос, Христос», уже служат только украшением, садовой «скульптурой». Дети катаются на велосипедах вокруг и ждут нечаянного туриста – не перепадет ли чего. А в храме никого, кроме зрителя, и нам опять можно послужить молебен и помянуть и «нашего» Николу, и других отцов Вселенских Соборов, боровшихся здесь за каждое слово и букву с сознанием, что «Слово – плоть бысть» и малейшее расширение толкования торит широкий путь гибели. А если бы, думаешь, жизнь не прерывалась, если бы единственная фреска «Деисис» все была на должной высоте, а не уходила в «культурный слой» так, чтобы рассмотреть ее, надо становиться на колени, если бы престол все был престолом и не надо было искать его место на земле, куда бы положить крест, как могущественно тверд и покоен был бы человек, как крепил бы его сам воздух этого великого Богодухновенного храма, давшего христианскому миру незыблемое основание, но в своих стенах уже не слышащего «Символа веры» и не украшенного спасенными им для мира иконами.

Нет в нем больше мечети. Минарет пал при одном из землетрясений, и мусульмане сочли это указующим знаком и ушли из храма. Милосердное время выветрило чужой воздух, но еще не возвратило стенам родной памяти, и они еще горько немые. Храм стоит непрерывной молитвой, а без нее он только дитя прошлого, след истории, а не знак вечности, словно уходит из него небо, опускается купол, и надо напрягать столь чуждое Богу воображение, чтобы камень перестал быть камнем и исполнился света и живого тепла.

Зовут. Пора идти

Сколько мы бились в 60-е, носясь от храма к храму и возбуждая воображение, чтобы вернуть себе утраченное чувство целого, снова стать русской полнотой, сколько поусердствовали в реставрации, но оглохшие без молитвы стены все оставались камнем и не спасали наше просвещенное, но не освященное

сердце. И теперь здесь, посреди покойной Софии, я с горечью вспоминал эти наши 60-е и молился, чтобы эти великие стены поскорее перестали быть памятником и объектом туризма, а затеплились хоть малой и бедной, но живой молитвой.

И кажется, это тоже таинственным образом зависит от нас, от того, как мы будем помнить колыбельные земли нашей веры и полноту Господнего слова, которое не знает национальности. Может быть, тогда нам не надо будет искать никаких насильственных оправданий и живописных отговорок, на которые мы такие мастера.

Не надо будет ссылаться на политические сложности и дипломатические хитрости, так удачно избавляющие нас от самой свободной и самой неуклончивой воинской Господней повинности, которая так была ведома пророкам Ветхого Завета и бедным рыбакам Нового, выходявшим по первому зову: «Вот я, Господи!»

Как я любил когда-то запись отца Сергия Булгакова об Айя Софии от 9 января 1923 года, сделанную в Константинополе, – этот восторг, этот «полет в лазури»! Казалось, приеду, увижу и благодарно приму каждое слово, как счастливо сделанную «за меня» работу, как готовую страницу своего дневника. А вот возвращаюсь, перечитываю и смущенно отодвигаю.

Кажется, мы видели разные храмы. Где оно теперь это «неумолкающее звучание золота стен», это настольчиво вспоминаемое «тихое и певучее золото, оттеняемое дивным благородным орнаментом», это «море света, льющееся сверху»?

Может быть, виною металлические леса, воздвигнутые в центре во всю немыслимую высоту храма? Да нет, не это.

Когда бы не подсветка, не увидеть было бы Богородицы в алтарной конхе и тем более «императорских мозаик» на галереях. Золото закрашено тусклой охрой и мертвым орнаментом, подавившим все не сдающиеся, все проступающие кресты Софии. Змеиные хищные молнии Корана с огромных щитов перекрывают шелест крыл «многоочитых, возвышающихся, пернатых» херувимов и серафимов. Легче вспоминался Д. Мережковский, навестивший Софию в 1904 году: «Я... смотрел в побледневший простор великого завоеванного храма с его тенями херувимов на стенах чуть видными, точно отошедшими, слышал молитвы чужих людей Богу Отцу без Сына, и мне становилось грустно».

Отец Сергей писал, что турецкие молитвенники показали ему благоговейными «местоблюстителями», которые «достоиннее нас, тех, которые так шумно собирались еще недавно воздвигать крест на св. Софию». Может, тогда оно так и было, но сегодня я уже не могу разделить его мысли о благоговейных «местоблюстителях», потому что отчетливо вижу в темной выси этого уже не обещающего «полета в лазури» храма, как сбывается предположение, что святая София может остаться только архитектурным памятником с начавшимся уже неизбежным разрушением. И самое-то горькое вовсе не в арабском вторжении и не в том, что это вчерашняя мечеть, а в том, что опять очень видна (а какова, очевидно, была в золоте!) имперская высь, вызов Риму.

Легко улетаю за отцом Сергием в пору, когда

«храм был полон молящимися, алтарь горел огнями и курился фимиамом», и вполне понимаю «величие замысла богодействия», но уже не тороплюсь принять тезис «Пусть это была роскошь, императорская затея, ненужность или вред... но должна же была ощутительно сверкнуть в мире золотая риза Софии».

Да и сам он – вот чудо верно ведущей человека христианской мысли! – скоро побеждает в себе ликующего эстетика и говорит на полях только что пьянившей Софии чудно верные слова: «Однако не вселенская власть утверждает вселенскую церковь, а вселенская любовь. И когда вдохновенные зодчие Софии впали в надмение византизма и заветы Софии заменили дряхлым самолюбованием, в это же время вселенские заветы Вечного города переродились в надмение римского примата, судорожно сжимающего два меча и ими пытающегося покорить мир». Узнаете эти «два меча»? Союз Церкви и государства.



Св. София

И когда выходишь из Софии, тебя ошеломляет в зеркале (иначе бы не увидел за спиной), небесной красоты мозаика, на которой к ногам Богородицы с Младенцем император Юстиниан слагает Святую Софию, воскрешенную им после пожара, а император Константин – город Константинополь. Золотой символ, «два меча», которые избирает империя под кровом Богородицы, чтобы победить мир.

Я не буду развивать эту тревожную мысль, потому что она очевидна. Скажу только, что пустеющая, темнеющая, соскальзывающая в музей София все служит великую службу, как служат еще руины церквей Апокалипсиса и храмы, напоминающие о Вселенских Соборах, о времени горячего взглядывания в Откровение Слова. Слова! СЛОВА!

Все боюсь прямо сказать, но ведь тут огнем пишется «Бог гордым противится» – слепому видно. И лучше, наверно, однажды отрезвляюще посмотреть, чем снова поднимать циклопические камни, которые скоро заслоняют Христову бедность и его навсегда сказанное: «Посылаю вас яко агнцы посреде волков» и «Царство Мое не от мира сего». И ни слова о величии, гордости, «симфонии» и власти над миром. А только о любви, смирении, об «отдай все и иди за Мной», о человеке как одном из сыновей Божиих, о мире, где кончается история и начинается «все новое», начинается путь, ведущий к истине и жизни.

Как странно закончил свою запись отец Сергей, как вроде отговорочно и случайно, словно оборвал себя на полуслове: «...но зовут. Пора идти...». Но в верно

живущей душе и самое обыденное слово помнит о небесной родине и не бывает случайно: ведь подлинно зовут. И вот эти руины тоже.

И как давно зовут. И подлинно – ПОРА ИДТИ.

Приближение

Эта черта роднит и паломников и туристов – вернешься домой, выговоришься, уложишь в душе дорожные впечатления, найдешь им место в молитве и миропонимании и уже, глядишь, снова запосматривал на карту недавно оставленной страны. Вот и этого там не досмотрел, и этого не знал. Даже и в тех местах, где уже был. А что говорить о другой части страны и о других великих именах, собравших ее и стоящих в основании твоей веры.

И уже чувствуешь странное смущение и тревогу, и привычное слово молитвы уже будто не полно и слишком отвлеченно, пока не увидишь, каким воздухом оно напоено, среди каких камней и пространств выросло и каким небом омыто. Прежде не знал, не видел, и ничего – был полон и тверд, удовлетворяясь чистотой умозрения, а вот однажды коснулся «плоти» молитвы, ее колыбельных оснований и лучше понимаешь русских паломников, которые если уже не в Святую землю, то по дальним обителям и лаврам считали необходимым хоть раз сходить.

Дело было не в любопытстве, а именно в счастье удостоверяющего «вот!», в живой подлинности каменной своей веры.

Ты знаешь, конечно, и другую, укоряющую, точку зрения. Она принадлежит Григорию Нисскому, здешнему же, византийскому отцу Церкви, чью землю ты как раз и намереваешься навестить в пригороде турецкой Антакии, бывшей Антиохии: «Да что больше, – писал он, – получит тот, кто побывает в этих местах (местах учения и крестной смерти Христа. – В.К.), точно Господь доселе телесно обитает в них, а от нас удалился, или будто Дух Святой обилует среди иерусалимлян, а к нам не может прийти... Перемена места не приближает к Богу». Ты не только знаешь это, а и сам долго находил подкрепление в этом суждении. Ведь и правда – разве вера достигается осязанием? И разве Христос и святые все живут в тех местах, где их оставили Евангелие и житие?

Но вот ты оказываешься там, где твоя душа давно бывала в молитве или предании, и понимаешь, что перемена места, может быть, не приближает к Богу, но она приближает тебя к живой истории Церкви, к «плоти» веры, к ее человеческой полноте. Да ведь и то грех не вспомнить, что Григорий Нисский написал эти вразумляющие слова уже после того, как все-таки навестил Святую землю и она огорчила его духовным запустением.

И неожиданно откроется в евангельской фразе, что «Слово стало плотью и обитало с нами», еще и тот смысл, что не только Господне слово, а и слово учения, слово предания тоже было плотью и складывалось в истории и подлинно «обитало с нами» в здоровой, человечески простой бедной жизни. И это неожиданно потрясет тебя и опять подтвердит душе, что, ты приехал именно тогда, когда надо было приехать, и в этом есть еще одно проявление Господней любви к тебе, Его неисчерпаемой благодати. И, значит, ты все-таки приближаешься к Нему.

А если по дороге ты видишь еще и много «слиш-

ком человеческого», только туристического, отмечаешь красоту руин, оглядываешься на сияние природы и мира и думаешь о поэзии истории, то ведь и это естественно. Нельзя долго дышать одним воздухом высоты – легкие сами требуют послабления. И потом в каждом из нас живет в уголке свой Ренан и нашептывает о важности и праве реальности в деле испытания веры. Да и о самой даже собственно поэзии святитель Григорий Богослов, воспитанный этой же благословенной землей, тоже ведь писал с позабытой теперь свободой и пониманием цельности и взаимосвязанности мира, говоря, что иногда «горечь заповедей необходимо подсластить искусством», и что «красное слово до времени необходимо как подпорка у свода», и, наконец (и это самое замечательное), что он не хочет, «чтобы чужие имели преимущество в слове... хотя у нас красота в умозрении».

Путь вверх иногда почти невозможен для «зачищенного» человека без пути вниз – к Богу через культуру. Культура порой уже мнится помехой, становится непрозрачным стеклом, загораживающим небо, но ею же, как дверью, можно выйти к преображающему Истоку, к молчанию высшего знания. Руины хорошо учат возвращению к колыбели, к матери-земле и отцу-небу, из которых все исходило и в которые возвращались.

Я думаю об этом, перелистывая дневник второй поездки, и как ни торопится сердце к святыням, оно не может закрыть глаза и пропустить дорогу. Да ведь и паломник не сразу делается паломником, не пройдя необходимого пути сначала даже вовсе не просвещенного туризма. Снова вспоминается, что во всякой дороге есть свой урок, отчего так любил их Гоголь.

Ты опять отрываешься от дома, тебя опять покрывает чужое небо с неузнаваемыми созвездиями, и в этой внезапной незащищенности ты лучше слышишь новизну и красоту Божьего мира и свое детское сыновство у материнской вечности.

И потом, как забыть, что и наш словарь, и наша мысль рождаются теми горами и морем, полями и лесом, степями и небом, которые нас окружают. В них мы черпаем музыку и ритм, дыхание и мелодию своей речи.

И, значит, даже просто глядя по сторонам, ты медленно входишь в музыку библейской и евангельской речи, складывавшейся здесь и подчинявшейся свету этих небес и шуму этих волн.

Поэтому сразу, как только автобус подхватывает в Анталии и несет теперь в другую от Мир Ликийских, Патары и Олимposa сторону, торопишься наглядеться в окно и радуешься, что поездка выпала на май.

И, значит, дни будут длиннее, и вечера не будут падать с декабрьской стремительностью. Пусть сердце приготовится к встрече с преданием снова обступающего нас, казалось, навсегда миновавшего дня.

Анталия, мелькнувшая впервые негой и белизной, на этот раз выходит навстречу миллионным мегаполисом в банках и офисах, магазинах и представительствах, древних триумфальных арках и нынешних стремительных минаретах. Километры роскоши и деловой хватки, соревнования реклам и умело спрятанной нищеты. А на выезде вдруг водопад! Река Аксу бросается в море с высоты 80 метров, и этот полет прекрасен и страшен. Бешеное молоко кипит в пыли и радугах. Медленная фелука подошла

внизу почти вплотную к нему, народ высыпал было наружу посниматься на память и тотчас прынул назад от пыли и грома. Надобен великолепный Державин: «Алмазна сыплется гора // С высот четырехя скалами, // Жемчугу бездна и сребра // Кипит внизу, бьет вверх буграми».

И это, неожиданно неводопадное,
но такое верное:

Не так ли с неба время льется,
Кипит стремление страстей.
Честь блещет, слава раздается,
Мелькает счастье наших дней,
Которых красоту и радость
Мрачат печали, скорби, старость?

А уж дальше кукурузными и хлопковыми полями с белыми снегами гор на горизонте по уютной, обихоженной земле автобус летит в Аспендос, чей театр грозен, величав, царственен и мрачен с памятью о тюрмах и руинах неизменно и повсеместно являющегося здесь на память Пиранези. Памятная доска выкликает в создатели Марка Аврелия, напоминает, что жители были троянцы, бежавшие сюда после поражения своего несчастного города. А наверху заслоненные роскошью театра дотлевают стадион, фонтан, оставивший свою дорогую мраморную одежду в Берлине вместе с Пергамским алтарем, базилика, успешная побыть караван-сараям и позабывшая в себе церковь. Шароварные цветные старухи протягивают внизу каждому туристу коробочки хлопка – бедный приработок к дневным трудам.

А уж автобус торопится в Сиде, где площадь перед таким же театром выслана чудом белейших мраморов – статуи, маски, капители, базы, карнизы, фронтоны, фризы, архитравы, волюты, аканты. Перевернутые мраморные маски глядят в небеса страдающими глазами и кричат немymi ртами Эдипов и Антигон, обломки колонн поставлены как попало, выдавая скорее субботнюю уборку территории, чем реконструкцию.



Сиде

Но бегают среди этого кладбища мраморов трактор, снуют рабочие. И высится под небесами новенький кран – значит, городок все-таки чинит и врачует унаследованную историю, разглядев золотую статью дохода. А шагнешь в ворота – город вскипит южной, торговой, праздной, манекенно-завывной жизнью. Из всех дверей и окон бросятся жадные взгляды – сюда, сюда! Кожа, золото, серебро, безделки, гирлянда ресторанов...

Все так тепло и уютно, что сердце чувствует себя дома и будто все и не внове, а только чуть грустно и нежно, как после разлуки. И реклама, кажется, уже не кричит, а переливается ровной шумной речью, говором базара, где все говорят разом и никто друг другу не мешает. Милый юноша, продавец с добрым чудесным лицом, забывший родной азербайджанский язык, но еще помнящий русский, на вопрос, нравится ли ему тут, говорит: «Сейчас уже нет. Вот соберу денег и уеду в Финляндию».

И на наше как в Финляндию? Ведь тут все-таки родная вера, традиция, – глядит спокойно и доброжелательно, не говоря, а подразумевая, о чем вы, кому это теперь нужно? Там зарплата побольше и получше жизнь...

Улица обрывается чудной рукодельной бухтой, забитой мелкими нарядными судами. Лисс? Гель-Гью? Зурбаган?

Ах, сюда бы Александра Степаныча Грина, для кого всегда «все было полно страсти и обещания» и для кого всегда «в стране стран, в небесах мыслей сверкает несбывшееся – таинственный и чудный олень вечной охоты».

Мраморный черный Ататюрк извещает о своем годе рождения, оставляя после прочерка пустое место, словно живет и за этим прочерком никогда не последует другой цифры. Мраморные лев и тигр у подножия должны, вероятно, говорить о чудесной мощи героя, но среди них бегают живая дворняжка и снижает героизм памятника.

А на краю бухты сияет из-за вершин деревьев нежная колоннада. И когда доходишь, преодолев любезного Мустафу, который говорит по-русски, всовывает карточку, наспех читает меню и ждет к ужину, видишь висящий в небесах изящный фронтон, откуда не ведущую колоннаду храма Аполлона. После кипения улицы тишина эта отчего-то печальна, словно беднягу забыли на празднике жизни и колоннада беллет тут, как брошенная невеста на не для нее ликующей свадьбе.

Солнце скоро заходит, торопятся зажечься витрины, иллюминация ресторанов, сияющие огни баров. Жаркая, темная, тайно порочная жизнь наступающей ночи входит в свои права. А между тем и здесь для христианского сердца есть родные страницы. Здесь еще до Никейского Собора собирались христианские епископы для обсуждения сложнейших вопросов «единосутия», породивших столько ересей и для кого-то не решенных и сегодня, но изнеженному городу уже не до этих драматических воспоминаний.

Месяц встает. Медленные моторные боты после рыбалки идут к своему месту в бухте, и бормотание моторов уютно и устало покойно. Острая свежесть неизвестных цветов, как речная вода, перемежается удушливой парфюмерией магнолий. Лягушки орут, как неистовые ночные птицы. А там среди ночи пелухи – такие странные над морем среди пальм и магнолий.

А утром море. Молитва под ласточкино шмыганье перед глазами, будто она в твоих жестах узнает свою северную родину. День сразу наливаются жаром. Белая сияющая Алания торопится показаться во всей неге и белизне, скрыв далью и высотой скуку вблизи вполне бедных и даже нищих улиц, притворившись одним светом и роскошью. Крепость парит над мо-

рем на страшной высоте, откуда летящая чайка кажется светлой соринкой, плывущей по водам, хотя она и сама летит там высоко. И пальмы, пляжи, лавки, нет-нет змеинные взгляды Клеопатры, на которой, впрочем, здесь по лени не особенно стараются нажиться – ну познакомилась она тут, на аланском пляже, с триумвиром Марком Антонием – так мало ли кто знакомится на пляжах, хотя для Рима и Цезаря это знакомство было губительно: «Грудь силача, дышавшая в боях так яростно, что лопались застежки на панцире, превращена в мехи для обдувания жарких нег цыганки», как смеялся Шекспир. А дорога, а банановые рощи! Для фикусов, верно, осень. Многие листья желты и нет-нет опадают неопрятно и шумно, потеряв весеннюю солдатскую сапожную глянцево-зеленость. А колеса на серпантинах все по краю, и холодок, и желание отвернуться. И так перевал за перевалом.

А тут и Анамур с кинематографически прекрасной, как сплошная цитата из рыцарских романов, крепостью, которую обходят с автоматами современные турецкие Марцелл и Горацио – Гамлетовы друзья, дневная стража до появления Призрака.

Ров, окруживший крепость с прогретой водой, полон черепах и черепашат. Они греются на камнях, но при шорохе дождем сыплются в воду и страшно-ватными клопами проворно плавают взад-вперед, похожие не то на детские лопаты без ручек, не то на опустевшие кошельки, выброшенные за ненадобностью. Внутри крепость – совершенный Эльсинор с тьмой переходов, глубокой высотой башен с внутрискрипными лестницами, с галереями.

Вынырнешь из тьмы башни, а со стен рассыпья ящериц – серых, стремительных, сухих, как камни, с треугольными рыцарскими головами. Прыснут и выглядывают из щелей, как деревенские дети. И не наглядеться на ритмику настенных лестниц, грозу башен, и никак не отвыкнуть вздрагивать, когда «камень» под взглядом прыгнет вверх или вниз, оказавшись ящерицей.

В малой крепостной мечети открыто окно для проветривания, и она так уютна в коврах, в мерном ходе часов при михрабе, в изяществе вполне музейно или офисно одетых изречений из Корана, в стойках для четок, в молитвенных ковриках, сложенных стопкой.

Кажется, никогда из этого уюта не может раздаться слов гнева или призыва к джихаду, крика «смерть неверным!», не может явиться воспламененного взора, Хаджи-Муратовой ярости и коварства.

Кузнечики, ящерицы, солнце, море, тортилы в канале – вечность. Редкий немец пробелеет панамой в сухих травах двора, и опять тишина. У стен крепости кабачок, и добрый хозяин несет по стаканчику чая с дивными бархатными розами на блюдечке – только срезанные, они дышат свежестью и тонко мешаются ароматом с нежным дыханием чая, напоминая восхитивший И.А. Бунина в его константинопольских записках стакан воды, поданный ему с такою же розой.

Потом ты поймешь, для чего даются тебе эти начальные покойные дни почти праздного созерцания. Без этого природного, греческого, римского руинного предисловия, без исторического вступления ты не мог бы выйти в пространства, где прежняя история бессильна, где вступает в свои неотменимые права явившаяся с Сыном Божиим вечность. «Там (в древ-

ней истории. – В.К.), если вспомнить мысль одного из героев Б.Л. Пастернака, была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн. Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве и человек умирает не под забором, а... в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме...».

Эта «хвастливая вечность» глянет на тебя в конце счастливого туристического «предисловия» между Эдессой и Кесарией Каппадокийской на горе Немрут в бывшем царстве Каммагена, звавшемся в разный час Ассирией и Персией, подвластной Греции и Риму, чтобы столетие побыть Каммагеной и теперь навсегда утвердиться в человеческой памяти гордой могилой Антиоха I.

Дорога на Немрут, на высоту 2150 метров идет бедными селениями через мост времен Александра Севера все выше и выше, когда уже устаешь видеть солнце то справа, то слева, устаешь спугивать кур и баранов, устаешь умиляться печальными осликами, которые тащат в горы кто сено, кто мешки, кто своих хозяев или хозяек. Дети кузнечиками сыплются из-под колес, и их столько, что деревни, кажется, заселены одними детьми. Свет постепенно как будто «садится», по горизонту внизу под нами нижутся редкие молнии, но выше еще чуть проступает последнее солнце, ничего не освещая. И вот последняя терраса и страшный каменный стол для жертвоприношений, на который можно уложить стадо забитых быков, и безглавые колоссы, среди которых уже не отличишь Зевса-Юпитера от Аполлона-Митры и Гелиоса-Гермеса от Геркулеса-Марса. Добрый Антиох собирался соединить этих богов в своей Каммагене, чтобы примирить персидскую, греческую и римскую религии и самому стать в ряд богов, для чего он воздвиг здесь равной среди равных и свою статую, чтобы вместе с Юпитером и Митрой обонять ароматы всеожжения, уверяя в торжественной каменной надписи, что мысль о статуе принадлежит богам.

Они спускаются с могильного рукотворного холма неумолимой танковой колонной – кажется, даже с неммым лязгом и грохотом, – колонной тем более устрашающей, что главы колоссов давно повержены и разбиты, и лишь редкие слепо и незащитно глядят в пустые небеса.

А среди этого мертвого циклопического величия, у основания страшной, упершейся в небо могилы кипит рой нашего брата. Шумит, снимается «на фоне», залезает на головы, обнимая их, и смеется над ними... И что-то есть в этой улыбке жизни чудесно справедливое. Как и в этой простой тишине «нижней» жизни, где все так же бегут дети, везут хозяев добрые животные, вымалывают у скудной природы клочки сена трудолюбивые женщины. Надменные империи падают с шумом или сходят на нет, как уносимая сухим ветром почва; великие памятники, надеющиеся добиться благосклонной улыбки богов, оказываются только туристическим курьезом – не проходит только бедная повседневная жизнь, которая держится не дерзостью, а послушанием Богу и ухватывается за историю не гордым камнем, а любящим потомством. И веришь, что это и есть, если еще раз вспомнить Пастернака, «человеческая работа по преодолению смерти».

Не зря, кажется, Немрут был последним над-

менным памятником этой земли перед Рождеством Христовым, и не зря он возносился выше не только человеческой жизни, а и самих облаков и молний, доводя гордость до безумия, до символа, до прощального знака. И хоть человечество еще долго будет метаться между богами, а молитвы, по слову Д. Мережковского, смешиваться с заклинаниями, олимпийские боги с христианскими бесами, церковные обряды с волшебством и император Александр Север еще будет равно кланяться Христу и Орфею, а почти нарицательный в жестокой бессмыслице Калигулы потребует поставить свою золотую статую в святая святых Иерусалимского храма и даже святой Константин отметится в истории колоссальной статуей, но ДРУГОЕ уже приходило и пришло в мир и собирало этот мир на новых основаниях.

Здесь это чувствуешь с особенной остротой и, кажется, глубже, чем где-либо, понимаешь, как важно в дни ослабленной веры приходиться к источникам, в которых кипит живая горячая вода магически становящегося мира. Совершенные Греция и Рим на Западе и библейская ассирио-вавилонская культура на Востоке соседствуют тут в пределах одной страны, являя прекрасную лабораторию, огромный, накрытый небесами музей человеческого духа и высшей религии в ее зарождении, могучем развитии, усталости и напряженной внутренней жизни, ожидающей нашего внимания для того, чтобы почувствовать неизменно живые основания вечности.

Здесь яснее видишь, что устают институты Церкви, ее общественная, опасно близкая к государству сторона, а сама Церковь, ее сердце бьется свежо и сильно, как в первый день, потому что живет в другом времени.

Когда плывешь под сверкающим солнцем в ледяном, кристально-чистом в верховьях Евфрате, только смятенно шепчешь: «Господи, Евфрат!» – и детское непостижимое слово «рай» на минуту перестает быть непостижимым.

Когда подъезжаешь к Харрану, волнение начинается уже на подъезде, когда глинобитные сараи и мазанки вдоль дороги уже готовят воображение к настоящей ветхости, к началам земли, к месопотамской неохватной для ума дали. Как перевернутые кувшины, слепленные из сырой, еще не обожженной, только подсушенной южным солнцем глины дома? Очаги? Жилища? Осинные гнезда? Обступают со всех сторон навозом, сеном, открытым бытом, овцами на улицах, агнцами (никак не ягнятами), запутавшимися в кустах, как тот, что был послан Господом Аврааму в час последнего испытания вместо Исаака. И уже так естественно думается не у этого ли колодца встретил посланный Исааком раб Ревекку:

«Девушка была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх» (Быт. 24, 16). И не из этой ли мазанки выходила навстречу Иакову Рахиль – счастливые харранские дочери памятливого Авраама, который посылал сюда на родину своих сыновей для выбора невест (Бог ведь почему не нравились ему ханаанские). Здесь Иаков до встречи с Рахилью видел сон о дарованной ему земле, подложив под голову вот этот камень: «И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней».

И вот Господь стоит над ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца Твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему» (Быт. 28, 12).

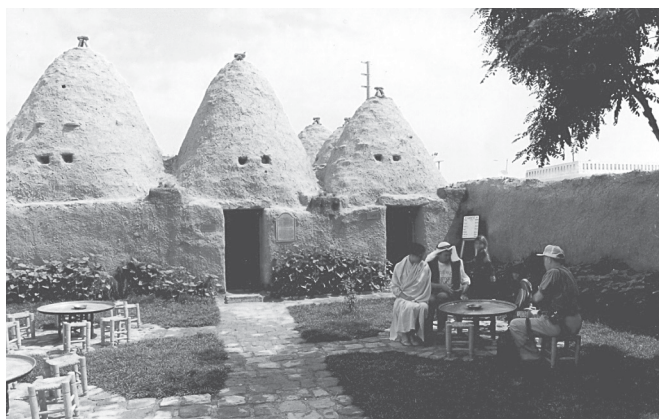
А за что же, за что дает он ее Иакову, как прежде Аврааму. А за то, что по первому слову Бога оставляет привычный очаг, дом, родину и уходит, куда указывает ему Бог, не зная, что он найдет, или, как говорил Иоанн Златоуст, «предпочитает невидимое видимому и будущее тому, что уже находилось в руках». Они знали тогда то, чего давно не знаем мы: ежеминутную готовность к Господнему призыву, чтобы не мешкая ответить: «Вот я».

Дети стайкой щеглов (такие разноцветные, шумные) налетают со всех сторон, требуя бон-бон или попеу (слово, которое они научаются говорить раньше слова «мама»), висят на руках, тербят за полы, вырывают из рук аппарат, ручки, книги – чистые репы. Суют свои нехитрые плетения и ожерелья и, наконец, делаются невыносимы. Но прогнать их невозможно, потому что детей насыпано, как цветной гальки на берегах Евфрата, и отлетит одна стайка, тут же воробыно налетает другая.

В жилищах тесно, как во времена Авраама, и сарай не отличается от дома ни архитектурой, ни светом, ни духом, и не знаешь, входя, найдешь ли там лениво жующих овец, мать, кормящую очередного ребенка, или выжженного солнцем турка, седлающего лошадь.

Кажется, здесь только прядут, рожают детей, доят коров, пасут овец, то есть ничем не отличаются бытом от Авраама, Исаака, Иакова, Сарры, Ревекки, Рахили... Разве что не помнят Господней лестницы и обещаний Завета и позабыли, что Иаков боролся тут с Богом, охромел в этой борьбе и стал Израилем, что значит «Бог ведет борьбу». Сколько лет назад это было, сколько веков, как долго они жили? Рахиль умерла в 41 год, по-нашему совсем молодой, но она не знала об этом, потому что не годами мерилась тогда жизнь, а событиями, и они спрессовывали жизнь, то растягивая ее, то сжимая. Над ними стоял вечный день, вокруг них шумели стада и лежала вечная степь, даже дети от рабынь и жен росли, как трава или деревья, и уходили в свой час, как уходят времена года, чтобы завтра смениться другими, а потом повториться снова. И так без конца.

И как странны в соседстве с Харраном руины университета, крепости, астрологической башни – такие непривычные глазу в вертикальной руинности



У Авраама в Харране

рядом с осиным, текучим, пещерным, словно непрерывно лепимым детьми Авраамовым селом.

И по ним еще можно вспомнить Харран таким, как описывал его Томас Манн в «Иосифе и его братьях», с его воротами, обитыми серебром и охраняющими вход в город бронзовыми быками. Ни-че-го этого нет, как не было, и трудно поверить воображению художника при виде этой вечной пастушеской жизни.

Не уйти из-под этого неба первого Завета, от этого старого театра бедного человеческого существования, которое во всякой стране хранится в таких углах, как золотое детство, напоминание душе о прародине, как «формула национального предания».

Так до конца и ходишь в облаке детей, и, даже когда дверцы машины захлопываются, они еще лепятся по стеклам.

Жизнь еще так первоначальна, что умозрение здесь кажется неуместно, а Бог прост и близок. О Нем здесь странно читать, но с Ним легко говорить. И ты уже не удивишься, когда в соседней Урфе, которая некогда звалась Эдессой, тебе покажут могилу праведного Иова, и не станешь вместе с библеистами думать о подлинности этой могилы. Самою харранской землей будешь приготовлен к тому, что именно в этих пустынных горячих пространствах и возможно было это трагическое и могущественное собеседование Бога и человека. Этим зноем и жаркой пылью, которую не остужает ветер, наполнены были вызывающие слова Иова, уверенного в своей правде и потому звавшего Бога на суд: «Вот я завел судебное дело: знаю, что буду прав» (Иов. 13, 18).

Он не выиграет этот суд, но и не проиграет его. И тебя опять поразит, когда ты спустишься из зноя дня в тесную прохладу пещеры, словно впервые услышанное сыновнее недоумение: «Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и Ты губишь меня? ...как глину, обделал меня, и в прах обращаешь меня» (Иов. 10, 8-9). И ранит детское, великое, беспомощное: «Вот я лягу во прахе, завтра поищешь меня, а меня нет» (Иов. 7, 21). Это ведь эхо Авраамовых и Исааковых бесед только в немыслимый час испытания: «Ты создал меня, и как Ты будешь без меня?». Иногда надо уехать так далеко, чтобы слуху возвратились чистота и свежесть и ты догадался, что Бог говорил «из бури» не для одного Иова в немыслимой глубине времен, а говорит сегодня, ставя на место твое горделивое технократическое сознание: «Давал ли ты когда приказание утру и указывал ли заре место ее?» (Иов. 38, 12).

Старая земля скоро научает тебя относительно времени и условности всех исторических делений. В пламенеющей зноем Эдессе, разбегающейся по холмам тесными коридорами улиц и широкими дворами мечетей, ты откроешь не одного Иова. И не одни священные источники. Вдруг вполне равноправно вспомнится прекрасная повесть Леонида Леонова «Ewgenia Iwanowna», которая лет тридцать назад так жадно читалась умным русским читателем, уставшим от «производственных романов», и где эта самая Эдесса разворачивалась как золотой свиток: «...здесь, на сравнительно тесном манеже, тысячелетняя сряду все грудью сражалась со всем: юная европейская цивилизация с отстающей пустыней, Восток с Западом, хетты с хурритами, римские львы с персид-

скими львами, архиепископы с ересиархами, а могущественный Велиар со здешними, в поясах из древесных ветвей отшельниками, досаждавшими ему хуже летучей мошкеры. Апостол Фома уходил отсюда на миссионерский подвиг, и три века спустя сам Ефрем Сирийский в городских воротах с клиром встречал прах его, сторицей оплатившего свой минутный скептицизм... А в промежутках каратели Траяна дотла разрушат этот город, который восстановит Адриан, префект Макрин заколет здесь Каракалла, чтобы самому пасть от меча сирийского юноши с еще более отвратительной судьбой, и, наконец, всемирно-историческая деятельность римских императоров в Малой Азии завершится пленением Валериана, со спины которого высокомерный Сапор станет отныне садиться на коня...». Одна эта цитата и об одном только рядовом городе страшной своей плотностью великолепно отразит все напряжение истории этой земли.

Да и об Эдессе-то все ли? А главное-то, главное! – ведь это здешний царь Авгарь V Улама, еще за двести лет до пленения Валериана, до всех этих молодых кровожадностей, «состоял в переписке» (как выразился С.С. Аверинцев) с Иисусом Христом.

Большой проказой царь послал ко Христу своего архивария и художника Ананию с просьбой или пригласить Христа в Эдессу, или хоть сделать его портрет. И Христос, видя усердие Анании, умылся и послал бедному Авгарю плат со Своим отпечатавшимся Ликом, приложив извинительное письмо, что не может быть Сам, потому что Ему здесь предстоит исполнить то, для чего Он был призван («Пречистаго Твоего Лица зрак изобразив, Авгарю верному послал еси, возжелавшему Тя видети, по Божеству херувима невидимаго», – как поет православная церковь, вспоминая это событие).

Кинешься к мечети Улу-джамы, поглотившей храм, где некогда хранилась эта святыня, метнешься глазами по стенам в надежде хоть воображением отыскать место, где сиял спасительный Автопортрет, но отовсюду только суры Корана в хищной их каллиграфии, похожие на клинки, ножи и кинжалы горячего звона или арабской немой резни. Образ после несчетных испытаний, выпавших здесь на его долю, погостил в Иераполисе, потом императором Никифором Фокой был перевезен в Константинополь, пока, наконец, с разгромом этого великого города крестоносцами в 1204 году, не затерялся вовсе. И вот теперь нет в Эдессе городских ворот, с которых Образ первым встречал путника, в которых был заточен при правнучке Авгаря, воротившемся к язычеству, и вновь обретен и воздвигнут в храме. И нет храма, поглощенного мечетью, но Образ-то все глядит со стен русских церквей и из красных углов православных домов, и все кажется, что таинственно и незримо горит и здесь.

Всему приходит конец, но только не благодарной человеческой памяти и молитве.

Заканчивается очередной намаз, мусульмане расходятся как-то по-деловому, не разогретые, как наши старики, долгим стоянием, и остаются только стеклянные, пластмассовые, деревянные четки, брошенные каждым на своем месте до следующей молитвы, неприятно живые, словно старающиеся уползти за тобой. И потом долго стоишь в горячем слепящем дворе под успокоительный шелест фонтана и все не

можешь уйти, ведь это земля первого христианского государства, звавшего себя таковым при Авгаре IX (между 170 и 214 годами)...

«Древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5,17) – как странно читать это у апостола Павла. То ли от молодости нашей страны, то ли оттого, что мы получили христианство готовым, сложившимся и даже, по слову отца Сергия Булгакова, усталым за девять веков, но только здесь по-настоящему задумываешься об этом древнем и новом. Поглядишь хронологическую таблицу и ахнешь: оказывается, Христос пришел в мир, когда Рим только расцветал, и еще впереди были Калигула и Нерон, Веспасиан и Тит, Траян и Марк Аврелий, Люций Вер и Каракалла.

То есть ты это всегда и знал и именно из Евангелия и знал, но при этом все-таки как будто не сопоставлял, потому что Христос был от века и тем словно отодвигал историю в мифологические времена, в непостижимую даль вечности. И апостолы шли по земле на заре мира, а вовсе не при Тиберии и Клавдии. И вот здесь ты с внезапной яркостью чувствуешь эту молодую свежесть Нового Завета, и история «распрямляется» до естественных, вполне человеческих пределов. И понимаешь, почему не Иерусалим, а именно эта земля сделала христианство всемирным и почему апостол Павел, не видевший Христа при жизни, становится в русских иконостазах в деисусном чине вровень с апостолом Петром, который с Христом не разлучался. Павел родился тут, в Тарсе, здесь усвоил отцовское ремесло ткача, и теперь, когда подойдешь к месту, где был его дом, увидишь крепкую палатку, какие ткали в те простые времена и в каких и теперь где-нибудь в долине Гюрсу или у монастыря Алахан в горах Селевкии живут нынешние пастухи, легко примирив в сердце руины полуторатысьчетелетнего монастыря, в опустошенных гробницах которого прячутся от зноя козы, и адидасовскую куртку от ветра.

Палатка при доме апостола – только музейный привет, а вот колодец с «русским» воротом, говорят, тот самый, и ты заглядываешь в его 38-метровую глубину с ужасом, пока поднимается ведро, и та самая вода, неожиданно бережно теплая для такой глубины, что поила его, поит и тебя. Даже не пьешь, а «прикладываешься», как прикладываются к образу, или причащаешься, опять вспоминая, что во всех фресках Евхаристии в византийских и наших храмах Христос первыми причащает Петра и Павла.

Соседний с домом апостола квартал Тарса восстанавливается вполне по-арбатски, но дома уже «молодые» и вряд ли напомним тот еврейский район, где выросла пламенная душа Павла. Как не много скажет сердцу и соседняя поздняя церковь его имени, приводимая сейчас в порядок и умиляющая разве чудно русскими евангелистами в парусах сводов, так что вспоминаешь добрых русских пасечников и некрасовское «дедушка-голубчик». Зато римская трехтысячелетняя дорога, обретенная археологами недавно посреди города, в имперской своей здоровой простоте и удобстве с остужающими знойный воздух «водяными ремнями» по обочинам и скрытыми под дорожкой стоками, без малейшего сомнения, помнит все уходы и возвращения апостола в одиночку и с апостолом Варнавой, с которым они делили апостольское служение здесь и в недалекой отсюда великой Антиохии.

Когда ты окажешься в этом некогда великом городе, глаз напрасно будет искать здесь третий после Рима и Александрии город мира. Землетрясения и войны постепенно сослали его в провинцию.

Но музей античной мозаики – не лучший ли в Азии? – скажет о роскоши города лучше живописных порицаний Э. Ренана, который рисовал в Антиохии времен апостолов город интриг, вакханалий, фантастических оргий, мимов, магов и колдунов. Эти мозаики горят сегодня под прежним солнцем всем разнообразием сюжетов, где полы и плафоны одинаково прекрасны с их рассказами о быте рыбаков и садовников, где битвы людей и зверей стремительны и легки, где Амуры и Киприды мешаются с Гераклами и Нептунами, Дионисами и Дианами и где пронзительно смотрят на слишком скоро преходящее человечество вечные Космос и София. Подлинно роскошь смерти, вечное счастье Эллады и Рима, золотой век всесильной империи.

И в скульптуре чудо Веспасианов, сытых и порочных даже в изваянии, веселых сатиров, мерная красота монетных профилей: Диоклетианы, Галерии, Домицианы, Юстинианы. А где же Павел-то, где Петр, проповедовавшие здесь? Где Варнава? В Слове! Все-сильном и молодом, как в час рождения. Только открой «Деяния апостолов» или Павловы «Послания».

Да еще можно подняться в гору «Ставрин» и увидеть храм апостола Петра и пещеры над ним, из которых первые отшельники глядели на погибающий город – это всегда связано: падение одних и уравновешивающий аскетизм других. Именно духовное разорение, вернее всего, и приготовило мысль о необходимости спасения и преобразования и сделало этот город особенно чувствительным к христианской проповеди. И потому именно здесь христианство перестало быть сектой иудаизма и обратилось не только к евреям, но и к язычникам, и «братья», «верные», «назореи», как их по-разному называли, впервые осознали себя христианами и стали Церковью, которая победила мир. И прежде и более всего это сделалось, конечно, благодаря Павлу, которому хватило пламени зажечь не один свой Тарс и не одну Антиохию, но едва не всю Малую Азию, Македонию, а частью даже Афины и Рим.

Отсюда он уходил в Иерусалим для совета с «двенадцатью», отсюда, из соседней Селевкии Пиерии, отправлялся на корабле на Кипр и в Анталию, Антиохию Писидийскую, в Эфес и Пергам. Теперь порта в Пиерии уже нет.

Море отошло и шумит под ветром белым кружевом, вынося на берег целлофановые пакеты, бутылки, тряпки, немыслимую грязь века сего.

Мальчишки играют на пляже в футбол, носятся с чуть долетающим птичьим криком без слов, и кто-то запускает бумажного змея, и он трепещет под ветром, как цитата Феллиниева «Амаркорда» – детство, печаль, сон о невозвратном.

А на высоком берегу туннель Тита, прорытый тысячами евреев после падения Иерусалима для орошения и водоснабжения города, – страшный коридор, вытесанный в скале, уходящий во тьму на высоту пятиэтажного дома, чтобы сомкнуться там готической теснотой и подавить воображение мрачной метафорой воплощенного рабства. А над туннелем Тита – город мертвых, где в вырубленном в песчанике храме, с

легким светом колонн и пустых гробниц и чудных раковин сводов, лежали под каменными балдахинами, как в дворцовой спальне, император Веспасиан с императрицей, заботливо погребенные здесь любящим сыном. И это подлинно – город со своими воротами или просторный собор, пытавшийся остановить вечность. И вот этот мертвый город пуст, могилы разорены, и голоса туристов слишком громки и неуместны.

Эти гробницы пусты повсюду – в Алахане, Демре, Антиохии, Эфесе, и это странно подчеркнуто обрывает связь с ушедшим временем. Слово все они, жившие здесь веками, подлинно ушли в слишком прямо понятое небытие: каменотесы, строители, императоры, монахи, богословы, молитвенники, оставив нам мертвые камни и напоминая, что однажды мы должны перестать тешиться историей и даже с благими ООНовскими побуждениями передвигать народы, как высылал греков на прежнюю родину Ататюрк, «меняя» их на греческих турков, или как расселяют нынешние распорядители мира в Сербии и Косове. Поколения должны расти из живой почвы праотцев, как единственной лестницы, по которой человек в конце концов поднимется к небу.

Теперь в Селевкии Пиерии только тень, ожидание, словно апостол вычтен из этого пространства, и ты все время чувствуешь это отсутствие. Как и в Антиохии, в которой от столицы христианства первых веков, сменившей павший Иерусалим, от города горячих церковных Соборов, великих святителей как Игнатий Богоносец, и расколов осталась малая арабская православная община, музейные буклеты о миссии Павла да ловкие копии старого медного христианского литья, которым бойко сманивают туриста прилипчивые торговцы. Настоящая духовная жизнь ушла внутрь, в молчание камня, как в антиохийском пещерном храме апостола Петра или в соседнем с городом руинном монастыре Симеона Столпника.

План монастыря уже почти не прочтешь, только с изумлением увидишь, что столп праведника, обезглавленный дождями и ветром, позднее окружен торжественным залом с амфитеатром скамей и каменными тронами владык или императоров и уже из этого «театра» расходятся на четыре стороны света алтари.

Какие, верно, горели здесь, в этом церковном амфитеатре, споры (поневоле сразу вспомнишь, что и Ария, с которым Церковь боролась едва не весь четвертый век, предание выводило отсюда), и как высоко было напряжение еще горячего Господня Слова, не остуженного поздним схоластическим богословием. Скамьи осыпаются и становятся пылью, алтари врастают в жесткие травы, и только столп все мощен и как будто грозен и говорит сердцу больше позднего архитектурного величания.

Как они сочетаются: пламень апостольского слова и безмолвие молитвы – без антиохийского опыта этого не уразуметь. Теперь понятно, почему русский богослов Георгий Флоровский говорил: «К отцам – это всегда вперед». Это всегда не за прошедшим, не за историей, а за нынешним, а то и завтрашним опытом. В сегодняшней церковной ситуации, как и тогда в Антиохии, больше философского и филологического, чем богословского и благодатного, и, как тогда, много мнимого успокоительного воцерковления, которое скоро поселяет в душе неоправданное самодо-

вольство даже с тенденцией к учительству.

Павел гнал это самодовольство в здешних язычниках, а Иоанн Златоуст (вероятно, самое высокое дитя Антиохии) – уже из христиан, которые и тогда, при начале Церкви, были таковыми часто только по имени. И я думаю, не в этот ли монастырь Симеона Столпника (в житии сказано только «под Антиохией») он уходил, чтобы собрать душу, прежде чем начать свое служение в мире, где христианство успело стать модным и расслабленно усыпленным в государственной дозволенности. И здесь, и в Константинополе, куда он был призван, он говорил о снижении требовательности, о том, что потакающие себе верующие лишь «сено для огня», и, конечно, был изгоняем христианами за Христа, ссылаем, запрещаем и умер по дороге в очередную ссылку, чтобы меньше чем через полстолетия быть внесенным в диптихи святых.

«Древнее прошло, теперь все новое», – он мог повторить это за апостолом Павлом, понимая Евангелие не как притчу, метафору, аллгорию, как толковали тогда Писание всеильные александрийцы – богословы второго после Рима города, а как реальность, именно как ту новую историю, которую так чувствовали русские собеседники в «Докторе Живаго».

Этот путь «вперед к отцам» здесь прямо связан с образом дороги. Сквозь страницу проступает пыль живого пути, и ты впервые понимаешь, что докучная эта здешняя пыль не что иное, как прах библейских царств, унесенных временем гробниц и храмов, театров и бань, руины которых неотличимы от руин дворцов и библиотек. Пыль только плоть времени, и песочные часы неожиданно предстанут самым зримым и печальным образом вечности, ибо пересыпаящийся в них песок – это и есть давние колонны и архитравы, фронтоны и акротерии. Страница наливается зноем или студит скоро падающим и сразу холодным вечером, белеет выцветшим небом и сияет лампадами звезд. И эти небеса и звезды, сухие виноградники и горячие плоскогорья, бедные селенья и царственные руины тоже входят в пространство истории, в слово храмового богослужения и домашней молитвы.

Поэтому так и тянет благодарно одеть в слова все пронумерованные камни Перге или Сиде, все сцены театров и все агоры, чьи плиты выглажены праздной толпой, которая сама стала пылью, все оливковые рощи и мандариновые сады, снеговые вершины и любовно возделанные поля, отнятые у камня столетиями святого труда. Крестьяне тут часто тайком воюют с историей, чтобы прибавить себе немного земли.

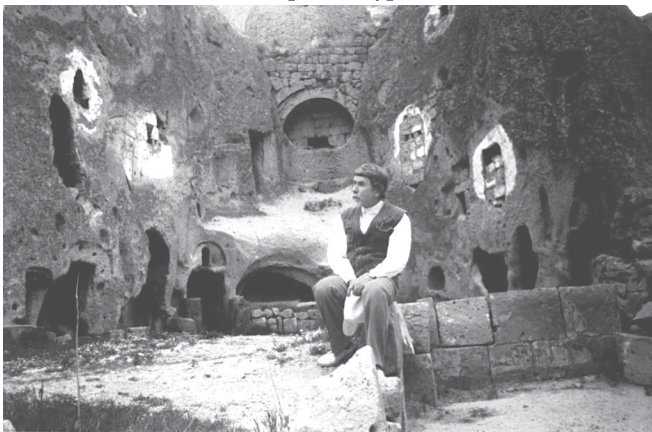
Нейдут из памяти почернелые капители и порталы времен Александра Великого среди выжигаемого под поле кустарника в Патаре. Трактор прыгает по кочкам и камням бедного поля, и, чтобы утяжелить плуг, веселый турок закрепляет на нем чудной красоты кусок капители, и царственный мрамор послушно выполняет совсем не царскую работу. Подъедет на мотоцикле молодая женщина с термосом и снедью для тракториста. Они сядут в тени трактора, и привычно невидяще будут поглядывать на арки Траяна или бани, пока пасущиеся тут же козы будут сыпать свой горох на гордые надписи Адриана. Все полно тайной логики и последовательности, словно в великом предначинательном псалме вечерни, когда мир создается на глазах в чудесной стройности и Господней полноте:

«Восходят горы и нисходят поля в место, еже основал еси им... Сотворил ест луну во времена, солнце познал запад свой...».

Эта чужая глазу мерность исторических работ понемногу день ото дня тоже станет привычной, и ты уже не будешь беспрерывно глядеть в окно, пока зрение не будет взорвано Каппадокией, к которой как ни готовься и как ни заглядывай в альбомы, а все потрясенно умолкнешь.

Каппадокия

Уже гора Эрджиес, усмиренный снежной шапкой древний вулкан под Кесарией Каппадокийской, вознесет воображение, и ты, словно по подсказке горы, вспомнишь великую славу этой сегодня вполне европейской Кесарии, где епископствовал первый историк христианства Евсевий, где учились Василий Великий и его младший брат Григорий Нисский. А если еще вспомнить их друга Григория Богослова, то великие каппадокийцы «будут в сборе». Вместе с Иоанном Златоустом мы поминаем их за каждой Литургией, ибо они отцы нашей Церкви, «святые вселенские учителя и святители», авторы Литургий.



Каппадокия

Во всех них горел Павлов огонь, хотя после Павла прошло три столетия. Все они поздно приняли крещение, пройдя высокую школу строгой аскетики и сосредоточенного уединения, чтобы не зависеть от мира. Василий Великий встретился с Григорием Богословом, еще просто как земляки Василий и Григорий, в Афинах, где в кипении традиционной высокой философии они выковали прекрасные умы и нежно подружились, чтобы потом так и идти в трудах Церкви, «роскошествовать в злостраданиях», пустынножить, собирать разоренную ересями и противоречиями Церковь, подвергаться гонениям и не уступать, бодрствовать и находить для сложнейших богословских понятий единственные слова, так что мы и сегодня формулируем свою веру на языке каппадокийцев. Такие разные характером (жесткий Василий и сердечный Григорий), они были одинаковы в стремлении к нестяжательной чистоте и в заботе о монастырских общежительных уставах, которые и сейчас законодательны в греческих монастырях.

Мыслители, юристы, поэты, они были художественно оболганы Д. Мережковским в «Юлиане Отступнике» (а они действительно учились вместе с этим грядущим гонителем христианства в Афинах и даже одно время дружились): «две длинные чер-

ные тени на белом мраморе», угрюмо желающие одного, – «разрушить все эти капища демонов», – это только предубежденная проза, а не портрет никогда не забывавших Афин поэтов. Совершенством и разнообразием знаний они вызывают в памяти нашего отца Павла Флоренского. Да и в мужестве они не уступали друг другу. Отец Павел в лагере, Григорий Богослов в стоянии против ариан, когда богословские оппоненты подсылали убийц, встречали камнями, когда вменялась в вину даже простота и бедность, с которыми он держался на Константинопольской кафедре, заставлявшие его с печалью сетовать: «Не знал я, что и мне надобно ездить на отличных конях... что и мне должны быть встречи, приемы с подобострастием, что все должны давать мне дорогу и расступаться передо мной, как перед диким зверем». Вон уже когда расцветала епископская, списанная с царской надменность. И тут он был в своего друга, который не прерывал службы, даже когда в храм входил император. По рассказу Владимира Соловьева, никто из дьяконов не решался без благословения епископа взять из рук императора Валента указ об изгнании Василия. Земной владыка, привыкший к раболепству, впервые почувствовал власть настоящей духовной силы и сам разорвал указ об изгнании.

Вот для чего они учились аскетике, вот для чего уходили в пустыни и влеклись к уединению. И не подзревали, что слабость человеческая приведет к тому, что спустя несколько веков их начнут разделять – Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, споря, кто из них «главнее», до готовности составить секты в память о каждом. Да, слава Богу, они явились во сне святому Иоанну Евхаитскому и просили «не разделять их» – так и стоят теперь вместе и празднуют в один день.

И каппадокийские монастыри все помнят своих небесных покровителей. Только увидишь это не сразу. Все туристы будут загораживать машинами, воздушными шарами, десятками автобусов, разноязычием гидов. Голова кругом. Да и сам тотчас жадно ухватишься глазами за эту рощу столпов, выточенных ветром в вулканической лаве, таких странных – не то аскетических воинов в выгоревших скуфьях, вооруженных одной непреклонностью и духом, разом вышедших в поход на ослабленное человечество, не то безумных шахмат в какой-то циклопической игре, брошенной посередине и доигрываемой дождями и солнцем. И сам подхватываешься и с жадностью бежишь, торопишься увидеть разом все храмы и келии, трапезные и гробницы, пока в смущении не остановишься, спохватившись, что снуешь по местам молитвы и первохристианской нищеты, собранной воли и высшего напряжения, в которых ты не мог бы выжить и дня.

Для любопытства дерзнешь подняться в келью в главе столпа, где коротал дни, молился в сухости дня и холоде ночи тот, кто загораживал тебя, растил твою веру из негодного, изломанного своеволием материала. Намаешься, пока лезешь по песчаному колодезю, где приходится опираться плечами в обе стены и где не за что ухватиться руками, и, может быть, догадаешься, что это он и от тебя загораживался, от твоего пустого любопытства. И себе поблажки не давал, чтобы лишний раз не спускаться на землю, как, видно, делал и Симеон Столпник, которого ведь начальное

предание тоже выводит отсюда с высоты два метра до столпа в семь, на котором он провел сорок семь лет.

А всюду не успеешь и всего не оглядишь, потому что здесь, говорят, было тридцать с лишним подземных городов и около четырехсот церквей. Тuff оказался прекрасным материалом, чтобы в него зарыться, строя внутри любое живое пространство. За долгую мятежную историю церкви потеряли имена и теперь зовутся «Церковь с яблоней», «Церковь со змеем», «Темная церковь» и даже «Церковь-крестьянский башмак». (Так в Селевкийском Неополисе ты тщетно будешь искать имена храмов на городской уличной карте, натываясь на нестерпимое церковь №1, 2, 3 – так нумеруют неизвестные могилы).

После пламени дня они покойны, прохладны, но вспомнишь, что зимой в них не теплее 3–5 градусов, и на минуту почувствуешь, какой волей обладали монахи и чем складывали характер «великие вселенские учителя и святители», не кланяющиеся перед императорами, умеющие обходиться одной рясой и есть с «непокрытого стола». Единственный источник тепла – жаркие цветом фрески уже новой поздней послеиконоборческой поры X–XI веков, как в «Церкви с поясом» (Токали) с их особенным чудом и энергией в притворе. С их детской чистотой и силой, с их горячей страстью, как свободное, еще не ведающее узды и математически сдержанной композиции «Поклонение», как «Избиение младенцев», «Бегство в Египет», «Брак в Кане», «Поцелуй Иуды» и «Воскресение». Молодая радость и нетерпение видны тут уже в том, как фигуры «заступают» в чужой сюжет, так что не сразу разберешь, к какому они относятся, как сбивающаяся речь торопящегося человека – скорее сказать, задыхаясь в словах, как в беге.

А уж в главном-то храме за его «поясом» – мера и полнота совершенного ведения, царское служение, будто в притворе деревенский простодушный батюшка служит, а в храме – епископ.

Оттуда в реке туристов, где особенно не воспротивишься, ибо течение мощно и заковано в берега, стечешь в Каранлик («Темную церковь»), которой так гордятся турецкие реставраторы. И тут заглядишься и задумаешься, не умея понять таинственное шествие Спасителей – Спас на престоле в конхе сменяется тем же благословляющим Спасом в куполе (а куполот от тесноты пещеры тут же в конхе и есть), чтобы замкнуться третьим Спасом во втором куполе, следующим тотчас за первым.

Эти три одинаковых Спаса подряд так непривычны, эти два купола один за другим так неоправданны, что сразу и видишь, что архитектура тут ни при чем (да и какая «архитектура», когда храм вырыт в горе и купола открываются не в небеса, а в ту же гору и освещаются только этими самыми образами Спасителя), а двигали строителями любовь и желание благословения – пусть из двух куполов рядом. Может, один показался маловат, а образ-то уж написан, и вот они глядят невольной Троицей в одном изображении и, может, правда таят мысль о выношенной здесь великими каппадокийцами Троице в единосущии. Они отстояли этот великий догмат от ариан сначала в мощном слове Василия Великого, Григория Богослова, Ефрема Сирина и Иоанна Златоуста, а потом и в этих уверенных (какое хорошее слово для укрепленного в вере человека!) художественных свидетельствах

Истины. Утрат здесь меньше всего, но многие глаза все-таки незрячи – отчего-то злая рука во всякое время и при многих религиозных противостояниях выкалывает их во фресках первыми, чтобы они не видели тьмы души надругавшегося над ними человека, дальнейшего его преступления – бессознательная боязнь взгляда Господня видна в этом спешном соскабливании глаз вернее всего.

В маленькой капелле св. Василия летят на змея Георгий Победоносец и Федор Тирон, и они же и той же руки летят на него в капелле святой Варвары, и она предстательствует их подвигу. Прекрасные юноши и девушка, умевшие пойти в веру до конца, потому что Господь был осязаемо близок, не уходил в умозрение, в тонкости богословия, в благочестивые оговорки. Жил и видел, и все совершалось перед Его взглядом, и угасали костры под Ананией, Азарией и Мисаилом, ложились львы к ногам святой Феклы («...выпущены были на нее звери многие; она же стояла, простерши руки в молитве»), тупились мечи палачей под рукой Святителя Николая, делалось водой раскаленное олово, вспыхивали залитые водой дрова, и все естественные законы оказывались бессильны, потому что Господь справедливо спрашивал Иова: «Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли, и скажут ли тебе: «Вот мы!» (Иов. 38-12,34,35). Не здесь ли Григорий Богослов говорил о послушании звезд, которые в свой час выходят на свой путь и не ищут своей воли, как бы ни хотелось им переменить орбиты.

А утомишься многолюдством, можешь переменить предписанный маршрут, соблазнившись уголком каппадокийской карты, на котором столпились родные именем храмы Николая и Иоанна Предтечи, Георгия Победоносца и Илии... По дороге наткнешься на мечеть, сочиненную из армянской церкви. Поздняя, недолго она послужила до резни 1915 года, и вот крест остался только во фронтоме, а на главу воздвигся месяц.

Запоет муэдзин, и, пока тянутся верные, успеешь зайти на минуту и увидеть, что алтарь еще цел – пустая рама без икон, а уж ни престола, ни жизни. Старики мусульмане садятся на молитву боком к нашему алтарю, ибо их Камень Каабы в другой стороне – на юге от нас.

А иудаисты в этот час смотрят на запад. И что-то в этом есть печально символическое, как мы, молясь единому Богу, поднимаем взор в разные стороны неба, и Он не может посмотреть нам всем в глаза одновременно.

А когда найдешь тот пленивший на карте городок (Пюзелез) с сонмом церквей, он окажется восточно живописен, грязен, так что и к мечети не пробьешься между курами, индюками, тотчас слетевшимися детьми, навозом, вывалившейся наружу домашней жизнью, осколками какой-то невиданной старины и бесполощью насадившего на нее нынешнего обихода. Наверное, и в домах все осыпается, трескаются потолки, падают стены, и никто не замечает. Арки живых окон мешаются с арками мертвых, стены церковей делаются стенами сараев, храмы перегораживаются и делаются загонами для скота.

Ребята и поведут по остаткам церковей, загаженных, как у нас лет тридцать назад. Со стен нет-нет

глядит живой лик и Спаситель протянет руки: «Приидите, труждающиеся и обремененные», а они вон, труждающиеся-то, внизу картошку перебирают – такие живые, добрые, ласковые, доверчивые. Но это все не их история, не их вера, не их мир, не их Никола и Георгий, не их Иоанн Предтеча и Спаситель, и дети играют по храмам, как по вполне диким пещерам, и добивают остатки святынь. И не знаешь, как объяснить этим славным людям, что уже незамечаемая ими грязь и теснота, и отчетливый упадок, и доживание – это от небрежения хотя бы и к чужой церкви. Городок окажется из «привозных» – мусульмане из Македонии «поменялись» по воле Ататюрка со здешними греками после турецкой революции (исторические перетасовки народов рано или поздно непременно отзываются страданием и, возвращаясь в некогда родную землю, потомки изгнанников или переселенцев уже чувствуют ее чужой). Очевидно, греки так же доканывают там, в Македонии, брошенные мечети.

Все это говорит только о том, что мы все еще дети в вере и властвует над нами не она, а политика и животное чувство природы, которая все вершит свой злой закон, ожидая нашего проуждения.

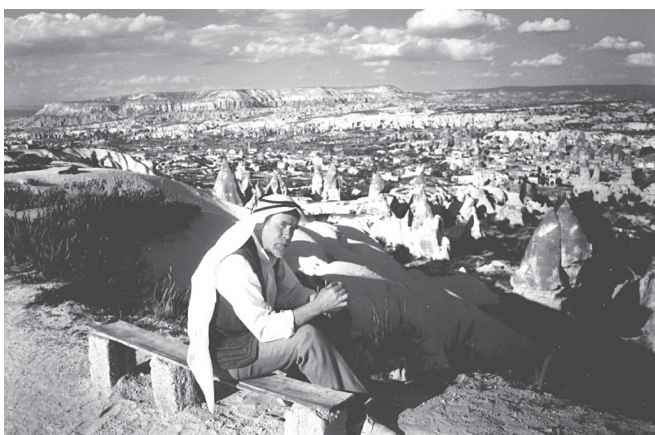
В последнюю церковь залезешь уже просто на животе. Забвение затягивает их осыпью земли и камня, пока не остается вот такая щель. А там затянется и она, дожидаясь дня, когда любопытное человечество, устав от современности, не копнет здесь, как копнуло в Мирах и Трое, в Патаре и Сиде, чтобы остановиться в изумлении, какие миры и какие великие цивилизации таит в своих песках и хищных кустарниках эта потрясающая воображение страна.

А там потихоньку дотянешься и до дальнего уже каппадокийского городка Соганли. Поднимешься в церковь неведомого тебе св. Карабаса с фресками X века, и опять станет жалко, что они уже трудно читаются и что глаза опять вынуты до штукатурки, хотя по упругой свежести линии видно, как наивен, но и как свободен был мастер.

А особенно жалко, что фрески исцарапаны не латинскими и не арабскими надписями, а скорописью именно туристических греков, которые уже не узнают здесь своего храма или тоже так механизировались в вере, что уже не до воспоминаний прародины, а успеть бы имя свое прокричать – бедные тиражированные, вооруженные напрасной школой геростраты. То же и в церкви св. Варвары, и в армянской по другую сторону долины, такой высокой и так верно использовавшей готовую скалу, такой чистой формы и твердой традиции, что хоть Нарекаци в ней читай: «В недостижимом отдалении, в нескончаемом изгнании, где нет прощения, где гибель вечная, учреди, возведи святыню животворящую, неприступную твердыню, знаменье креста Твоего ради меня, Твоего приверженца, Избавитель, Искупитель мой...». Та же печаль настигнет тебя в храмах такого же «перевезенного» городка Мустафа-Паши, который еще 70 лет назад был греческим Синасосом. Заглянешь в церковь перводьякона Стефана или родного Николы – опять в песчанике, в обычном здесь вулканическом столпе: колонны истерзаны и перебиты, лики вырваны с мясом. Уже тяжело ходить и глядеть на эту бедную поруганную Грецию. А кругом живой сад. Добрый турок смеется, глядя, как туристы громоздятся на его бедного осла. Жена опрыскивает сад и отворачивается от

камеры. Для них храм – только помеха расширить сад и поудобнее ездить к полю. Как, наверное, в другой стране помеха – македонская мечеть добрым грекам, возделывающим свой сад.

В самом городке раскинулась церковь Константина и Елены, двухсотлетняя, но уже тяжелая, бесплодная, без греческого, да и без турецкого воздуха, без тепла, будто на севере стоит. И хоть на фронте силится отстоять себя византийский герб, но в резьбе вход уже поражен ледяной кристаллической игрой, свойственной михрабам мечети, как попытка сложить из ледяных осколков слово «вечность». Как она мучительна – эта стремительная, едва не в день помещающаяся наглядность: от небесной высоты только сознаваемого, возделываемого в слове нового и чуда его зримого воплощения, когда небесное казалось отверзто до последней тайны, до истощения духа, ослабления руки и, наконец, до немоты равнодушия. Но значит, нужен был и этот урок и это остережение, чтобы ты увидел, наконец, путь, пройденный и твоей страной до порога, с которого началось медленное опаматование. Тут Каппадокия, ее опустевшие соты, уже не приносящие целительного меда, была прекрасным сжатым эпиграфом большой христианской истории, дружинным путеводителем, который пролистнул историю стремительным рапидом, чтобы тем нагляднее поразить сердце и больнее задеть его.



Каппадокийские дали

У единого престола

Иногда для отрезвления нужны сильные средства, и в чужом зеркале они только зримее и действеннее. Способен ли ты еще слышать новое, которое, при всех исторических потрясениях, спокойно и ровно оставалось тем же ожидающим тебя новым, которое не пройдет до конца времен, ибо оно ново навсегда, и мы потому и узнаем его сквозь времена, что оно дитя не истории, а вечности.

И в этом тоже было приближение, но уже к горькой правде ослепшего духа, что есть тоже приближение к Богу с нелестной стороны предательства, и эта сторона паломничества не менее важна душе, чем высокие движения сердца. А просыпаешься каждое утро под медное, рыдающее ликование муэдзина «Аллаху экбэр. Эшхеду энла илахш ил Аллах...». Вязкая, жаркая, душная, сладостная, мужественная (как это совмещается?) музыка параллельного мира. Минареты жалят небо в каждом селении и даже на заправочных станциях покрупнее. Стройный, таинственный, дисци-

плинированный мир. По дороге в Олимпос капитан прогулочной яхты Джума с хорошей русской речью (учился в Киеве, жена – хохлушка) подчеркивает, что он шиит, но что ему интересна и чужая религия, и скоро и твердо читает «Отче наш», при этом жестко отказывая нам в праве отговариваться семидесятилетним пленом атеизма.

– У нас положено пять раз в день совершать намаз. Не можешь сейчас, значит, соверши потом. Не можешь сегодня – догони завтра, но соверши. У вас ведь тоже никто не отнимал этого личного права и знания необходимости. А вы вместо раскаяния строите роскошные храмы из мрамора и золота, когда у вас полно бедных. У нас мечеть не строят, пока есть нужда у мусульманина. Помогут ему выбраться, тогда можно и о мечети подумать. Я сам хочу построить маленькую мечеть, но заработки малы и почти все, что заработано за лето, за зиму уходит. Но что-то понемногу и собирается, так что, может, еще успею.

Это горько, но это хорошо слышать, потому что ты ясно видишь, что, было бы поменьше государств и иерархов, люди скорее понимали бы друг друга, потому что во всех концах света они знают главное – сколько стоит хлеб.

Нет, Павел не зря был так настойчив в утверждении, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни мужского, ни женского. Он повторял это спокойно и яростно именно потому, что все это (эллины и иудеи) как раз очень было и надо было заставить услышать единственно спасительное нет!. Надо было собрать во Христе разбегающийся по национальностям, верованиям и границам мир, чтобы в тебя не стреляли при приближении к какой-то условной черте, проведенной по Господней земле человеческим произволом. «Древнее прошло, стало все новое», – это было переводом Христова «Царство Мое не от мира сего».

И это не значило, что Он пришел взять нас всех отсюда туда, где «нести ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». Он пришел сказать нам о том, как преодолеть «мир сей», чтобы мы почувствовали законы этого нового царства – «для иудеев соблазн, для эллинов – безумие», а для преодолевших в себе любовью тесноту нации христиан – начало Жизни.

В Конье, старинной Иконии, где по арабскому преданию похоронен Платон, где Павел укрывался от преследования евреев Антиохии Писидийской, не желавших смешения с эллинами (может быть, потому, что это была его первая миссия и он еще не нашел единственных слов), эта мысль, остуженная, было, усталой Каппадокией, загорится снова. Не достигавший до «необрезанных сердец» писидийцев, апостол был услышан здесь, создав одну из первых общин. Отсюда по первому слову ушла за ним Фекла, как потом уйдет родная русскому сердцу не менее Николы Параскева Пятница.

Может быть, есть места, в которых виднее небо, где горнее ближе и сердце отзывчивей. Въедешь в город в будни, а тотчас почувствуешь – праздник. Солнце горит в зеленом глазурованном куполе мечети, тяжелые ковры при входах полны глубокой винной тяжести и глубины цвета. Толпа у этой зеленой мечети в центре молода, празднична, кипуча, как в русские престольные праздники при любимых монастырях. Не зная, догадаешься, что место необыкновенное.

И скоро тебе со всех сторон наперебой напомнят о служившем, учившем и певшем здесь в XIII веке дервише поэте Джалал ад-Дине Руми – «наставнике (как писал великий персидский поэт Джами) с сияющим сердцем, ведущем караван любви и опьянения, чье место выше Луны и Солнца». Турки зовут его Мевлана, что самым приблизительным образом переводится как «мудрый владыка». Экономный на похвалы Гегель считал его «блистательным». Мир сейчас разделяет эту похвалу, отдавая ему лучшие издания, но по-прежнему не умея пойти за ним к «отрезвлению в Боге», которое, по слову поэта, дается отказом от общего мнения во имя «безрассудства и ошеломления» («Продай свою рассудочность, приобрети замешательство!»). Путь к такому замешательству он чертил в своей поэзии:

С прилежанием и искренне шел я по пути,
высланному молитвенными
ковриками в мечети...

Но любовь зашла в мечеть и сказала:
«О, великий учитель!

Сбрось оковы существования!
Что привязало тебя к молитвенному коврику?..
Ты хочешь от знания прийти к видению?
Тогда склони голову.

Он звал мусульман и уже разошедшихся на тот час до крестовых походов, до разорения Константинополя католиков и православных не делить мир и не оскорблять Спасителя разбеганием: «Тот Бог, что явил нам путь разлученья, надеюсь, дарует и тропу соединенья».

Увы, это слышно только в самом сердце веры и ждет человека, вероятно, только на последнем пороге. Неужели всегда на последнем, и нам так и не преодолеть в себе «эллина и иудея»?

Теперь он лежит здесь в царственной золотой и пурпурной гробнице, и лежат его сыновья, его последователи, хранители его имени и дела – великие дервиши ислама.

Раз в год собираются здесь продолжатели их дела, чтобы, подняв правую руку в небо, а левую опустив к земле, как нижняя переключательная нашего креста, протанцевать семисотлетний иконийский танец, белую метель единства, и обнять каждого («давайте же оставим пыль и прах и в небо взмоём!»). Этот танец змеится и кружится здесь в арабской мысли надписей, в волшебстве орнамента, по красоте которого ты догадаешься, почему ислам избегает человеческих изображений, которые «случайностью» своих черт разрушают сияющую красоту формы и формулы. Этот танец виден в тюрбанах надгробий, в хороводе светильников, которые сейчас прозрачны и немые, но в развеске которых ты видишь готовность однажды возжечься и принять участие в общем полете.

А уж они стронут с места небесные звезды...

Его описал в своих константинопольских записках И.А. Бунин: «И по мере того, как все выше и выше поднимались голоса флейт, жалобная печаль которых уже перешла в упоение этой печалью, все быстрее неслись по залу белые кресты-вихри, все бледнее становились лица, склонявшиеся набок... приближалось страшное сладчайшее «исчезновение в боге и вечности...».

И вспомнит Саади: «Он отдал сердце земле, хотя и кружился по свету, как ветер, который после смерти

поэта разнес по вселенной благоухание цветника его сердца».

Это о Мевлане. Но это же, разве только в более твердом, менее пышном, здоровом, как хлеб, слове, – об апостоле Павле, Игнатии Антиохийском, Григории Богослове, Иоанне Златоустом, о тех, кто переключательной креста соединяет небо и землю. Снова тебе дано догадаться, что Истина одна и в конце дороги мы должны встретиться у единого престола, а не у небесного отражения земной карты, где мусульмане неуступчиво граничат с буддистами, те с иудаистами, а иудаисты с христианами. Религиозная терпимость есть только начало пути, но не весь путь, ибо в основе ее лежит недоверие к Истине или равнодушие к ней. Вместо расплывчатой терпимости должна войти в сердце любовь к постижению Единого, общее проникновение в сердце Господня замысла о мире, и «технология» этого проникновения явлена здесь всеми сторонами в горячей искренности и глубине.

Спроси у камня

Через год, в очередной раз отправляясь в Турцию, в места уже известные, однажды пройденные, я испытывал двойное чувство. Хотелось еще раз пережить первое волнение, и вместе с этим было совершенно очевидно, что в одну воду дважды не войдешь, и было тревожно: не выжжется ли и сама острота первого впечатления, не ослабнет ли зрение и не смутится ли сердце. Но и радость не оставляла – можно было попристальнее рассмотреть пропущенное из-за спешки в первой поездке, «дочувствовать» то, что было едва наживлено, хоть краткое время пожить внутри того, чего в первый раз только коснулся.

Новость была в том, что на этот раз мы ехали целым самолетом московских учителей словесности, истории и географии из Южного округа столицы, которым в грядущем предстояло сеять семена интереса к этой стране и началам христианской культуры в собственном сердце, в сердцах учеников и их родителей. И это, конечно, не могло не сказаться на всей интонации паломничества.

Да и задачи у нас были пошире созерцательных. В группе, кроме них, была замечательный тюрколог Калерия Белова, чье присутствие автоматически снимало многие проблемы перевода. С нами летел петербургский скульптор Борис Сергеев с первым эскизом памятника апостолу Павлу, об установке которого на родине апостола в Тарсе мы и предполагали договориться. Командор международного ордена Святого Константина Великого Сергей Власов вез свою книгу о Константине Великом, чтобы не только представить ее на земле своего героя, но и передать каждому участнику поездки для скорейшего введения в историческую проблематику этой земли. Московская Патриархия благословила в поездку молодого священника Ильинской церкви в подмосковном Пушкине отца Виталия Якимчука, и батюшка оглядывал свою умную паству, учебу у которой сам оставил совсем недавно, без робости, а скорее с внутренней улыбкой над переменной ролью – теперь учителем предстояло быть ему.

Впрочем, в мои обязанности не входила историография поездки, и я больше глядел на памятники, стараясь «разговорить» их, чтобы облегчить эту беседу будущему паломнику.

Уже в Адане нас встречало руководство этой земли. Кажется, из Москвы это был первый в истории русско-турецких отношений авиарейс такого масштаба, и губернские, городские и туристические власти надеялись, что это только начало и были искренне заинтересованы принять получше. И слова о дружбе, внешне еще вполне дежурные, в дни, когда Штаты бомбили Афганистан, суля «возмездие» исламскому фундаментализму, в исламской стране приобретали новый оттенок. Становилось ясно, что перепутавшиеся нити и уже достаточно крепкие узлы, которые завязались и в этой стране, где тлеет в националистическом сердце пантюркистская идея «Великого Турана» и где разрабатывается «зеленая идеология нового османизма», надо будет развязывать менее драматическим способом.

И хоть турецкое небо опять, как в первый приезд, поражало реактивной исчерченностью, словно эта паутина ткется в тамошних небесах непрерывно, изводя в день запасы топлива, которых нам хватило бы на год, но здравый смысл в тишине говорит громче командирских голосов на ветру. Да и дети учат же нас чему-то. Турецкие и наши юные сверстники из фольклорных коллективов, посоревновавшись каждый в своей программе, уже обнялись и плясали что-то детски общее, и зурна ликовала под наш баян, заводя и учителей, которые уже втягивались в круг, и добрых хозяев, так что скоро холодная строгость аэровокзаловского терминала казалась втянута в общий хоревод, где наши директора и турецкие «пэри», солидные чиновники от администрации и наши озорницы хоть на краткое время были одной семьей.

А я уже высматривал в толпе водившего нас по этой земле в минувший приезд Шерик-бея Акимова из Киргизии (генерального директора турфирмы «Толеранс-Травел» и радовался, что можно будет продолжить знакомство с только-только приоткрывшейся нам тогда древней Киликией с запятой, а не с

начального предложения. Вообще, на этот раз было уже несколько киргизских молодых людей, которые учатся здесь, и теперь собрались, чтобы помочь нам в качестве начинающих гидов, у которых пока путеводительских знаний еще на вершок, но хоть с языком нет проблем. А то мы прежде уже сталкивались с этой бедой, когда наши старательные турецкие гиды ни христианского прошлого этой земли как следует не знали, ни русского языка, и эта двойная немота приводила к невольной поверхностности и нашего последующего рассказа об увиденном.

Теперь в каждом из четырех автобусов сидел доброжелательный молодой человек русской киргизской школы с папкой материалов и, косясь в нее, излагал еще новую для себя и для турецкой науки историю Византии. Ислам охотно исследовал эллинское и римское прошлое своей земли, наполняя музеи античными сокровищами и храня всех Афродит, Аполлонов и даже Сераписов (зависшая от зерна Египта Малая Азия ввезла это египетское божество и в свои Пергамы и Антиохию), но тысячелетняя православная культура числилась больше в сносках и примечаниях. Ее соперничающе властный дух был оттеснен на периферию и настолько загорожен Востоком, что даже русские путешественники, пленяясь его пестрым узорочьем, не сразу вспоминали здесь отчее христианское небо, спохватываясь разве в одной константинопольской Софии, которая от этого тоже становилась скорее декоративным приключением путешествия, чем памятью о материнской колыбели родной веры.

Теперь, поставив не на один европейский, но и на русский туризм, Турция по слову, по камню, по букве начинает воскрешать и эту страницу своего прошедшего, порой пока больше вслушиваясь в размышления русского гостя, чем «просвещая» его, и тем набирая необходимый опыт.

Продолжение следует





РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Нинель ДОБРЯНСКАЯ, родилась 28 мая 1938 года в Запорожской области. С 1994 года живет в Ульяновске. Автор книг «Смешная девочка» и «Княжна Натали». Рассказы Н. Добрянской опубликованы в журналах «Мономах», «Симбирскъ», «Гончаровская беседа».

Член Российского Союза профессиональных литераторов.

ГОЛУБЕЧИКИ МОИ МИЛЕНЬКИЕ

рассказ-воспоминание



Сегодня я самая счастливая! Радость из меня прямо изливается. Еще бы! Ведь я свободная на весь день, аж до вечера. Никто меня не будет искать, ругать, наставлять. Не нужно ни о ком заботиться. Правда, нужно вывести коз, но с этим я быстро справлюсь. Выведу их на тот дальний пустырь, может, там они что-то и найдут, а нет – пусть лежат и жуют жвачку. Сегодня о них будет заботиться наша соседка. Зато я что захочу, то и буду делать. Куда захочу, туда и полечу. Вот, наверное, с этого и начну.

Побегу-ка я к своим пернатым друзьям учиться у них этому искусству. Ведь сколько я за ними ни гоняюсь, летать я так и не научилась. Видать, мало одного желания, нужно еще потрудиться, как мама говорит, в поте лица. Хотя ей кажется, что я летаю весь день напролет. Сейчас ее нет рядом. Она не сможет мне помешать, как прошлый раз. Пустяки, что разбила коленку, пытаюсь прыгнуть с большей высоты. Просто тогда было неудачное приземление, вызванное криком мамы. Но зато, не помешай она мне в тот момент, я бы взлетела. Это чувство мне знакомо!..

Вот сейчас и займусь этим. Мама далеко, она поехала с младшей сестрой Валентиной, которой три года, в деревню Натальевка. Там живет бабушка Фрося, она обещала дать каких-то продуктов. Несмотря на то, что Запорожье освободили от немцев давно, но ни купить, ни достать из продуктов ничего невозможно. Мама говорит, что нас спасают козы, но и их сейчас кормить нечем. Год выдался засушливым, почти без дождей. Поэтому надеемся на бабушкину помощь, а моя помощь сегодня заключается в том, чтобы вывести наших кормильцев, с чем я быстро справилась.

Теперь вся забота о них лежит на нашей соседке, тете Тамиле, потому что ей молоко нужнее нашего. У нее трое детей, самый младший из них Павлик. Ему четыре годика, но он выглядит совсем маленьким и худеньким, потому что постоянно болеет, у него большой животик и маленькие худенькие ножки, за ним постоянно требуется уход. Чтобы как-то помочь поднять больного ребенка, мама отдает большую часть молока тете Тамиле. Еще она говорит, что об этой семье некому заботиться, их папа погиб на войне, защищая нас. Вот скоро кончится война – постоянно напоминает мне мама об этом, – наш папа вернется, и тогда у нас будет много всяких вкусных продуктов и мы проживем счастливо, а пока должны пережить это тяжелое время все вместе. С этим я полностью согласна, а еще и потому, что я дружу с дочкой тети Тамилы, Полиной, мы с ней не разлей вода.

Но сейчас даже эта такая знакомая и привычная картина ушла куда-то далеко и не волнует меня. В данный момент мои мысли заняты другим: с какого места мне начать свое путешествие?.. Наверное, побегу в тот двор, где ласточки на проводах сидят чинно в ряд и проводят свои собрания. Они щебечут так громко и все враз, расхваливая друг друга за сложные пируэты. Затем ласточки, как по сигналу, дружно взлетают в небо. Я гляжу на них, и у меня аж дух захватывает от красоты их полета. Я и раньше не раз без устали гонялась за ними.

Но вот беда! Взлететь сама я не могу, хотя пыталась много раз, подняться ввысь не получается, только кубарем качусь вниз. А маме почему-то кажется, что я летаю. Но я-то знаю, у меня пока не получается взлететь. И мне очень интересно, что там внутри у ласточек, какая сила так долго держит их в полете? Вот это и нужно мне сейчас узнать. Пойду туда и буду внимательно наблюдать за ними.

Но тут мои мысли прерывает чей-то настойчивый голос. Кто-то меня зовет, оборачиваюсь и вижу, что ко мне бежит Ирина, старшая дочь тети Тамилы. Я с ней не очень дружна, она всего на пару лет старше и всегда пытается меня поучать, а когда я что-то предлагаю, не соглашается и всегда спорит. Я ей не очень обрадовалась, лучше чтобы это была Полина, которая верит мне, всегда со мной соглашается и, куда бы я ее ни позвала, идет без возражений.

– А где же Полина? Что-то я ее сегодня не вижу – поинтересовалась я.

– Она сейчас с Павликом. Ей мама поручила заботиться о нем. Он ночью плохо спал, плакал, у него снова что-то болит, и мама пошла к докторше за лекарствами.

– Понятно, а я-то тебе зачем нужна?

– Не бойся, я не буду с тобой спорить и что-то доказывать, а просто покажу тебе что-то интересное. Пойдем – сама увидишь.

И я согласилась. Может, действительно увижу что-то необычное, да и играть вдвоем все же веселее. И Ирина повела меня по чужим дворам. Так далеко я сама еще не ходила. И меня это уже заинтересовало.

Вначале я шла за ней охотно, но чем дальше она меня вела, тем больше я разочаровывалась и плелась за ней уже нехотя. Через некоторое время я не выдержала:

– Ира, долго еще ты будешь водить меня по чужим дворам?!

– Все. Уже пришли. Иди за мной.

Мы подошли к низенькому, но очень длинному домику, сплошь усеянному птичьими гнездами.

– Видишь, как тут низко и можно хорошо рассмотреть, кто там внутри гнезда.

– И это все?! И за этим ты меня столько вела?! – Возмущенно говорю я. – Разве возле наших домов ласточкиных гнезд меньше?!

– Нет, не меньше, у нас очень высоко и поэтому птенчиков в гнезде не рассмотреть. А здесь их хорошо видно. Смотри, какие они маленькие и худенькие. Видишь их?

– Нет! Не вижу! Я же не такая длинная, как ты, – рассерженно отвечаю ей.

– Не сердись, подойди поближе, я даже пушок вижу на головке. А пищат-то как требовательно! Зовут своих родителей, кушать просят.

И мне тоже захотелось увидеть маленьких птенчиков, но как я ни старалась найти удобное место, даже подпрыгивала, пытаюсь хоть что-то увидеть, но толком рассмотреть ничего не смогла.

А Ира уже зовет меня посмотреть, как ведут себя птенчики в других гнездах. Но и там, как я ни пыталась, ничего толком не увидела. Ирина, видя мое расстройство, старается меня успокоить.

– Не волнуйся, Неля, я тебе помогу. Ой, смотри туда, ласточки летят!

Я повернула голову, куда она указала, – и ахнула от изумления! Будто прямо на меня летят мои любимые ласточки!!!

– О! Как же их много!!! – восхищаюсь ими.., почти над самой головой пролетают..

Радуясь чудесной встрече со своими пернатыми друзьями. Вот теперь я смогу узнать, какая сила в них сокрыта.

Слежу за их полетом, не отрывая глаз, в надежде увидеть, кто помогает им летать, и как же мне это хочется узнать!

Но ласточкам нет дела до моих проблем, они торопятся кормить своих детей и, быстро пролетая надо мной, спускаются все ниже и ниже, и вот они по гнездам разлетелись.. А я с тоской смотрю им вслед, так и не узнав, в чем секрет их полета..

– Неля, ты видишь, как нам повезло! – слышу я голос Ирины. – Подойди ко мне поближе, я тут удачно пристроилась. С этого места мне будет хорошо все видно, и я буду обо всем тебе рассказывать.

Но то, что говорила Ирина, у меня только вызвало сомнение. Как можно кормить маленьких птенчиков мухами, мошками, червячками? Ведь у них заболят животики, и они могут умереть. Нет! Она тоже, наверное, плохо видит, потому и не смогла как следует все рассмотреть, и не хочет мне в этом признаться. Потому и сочиняет мне всякие небылицы – пришла я к такому выводу.

У меня враз пропало всякое желание слушать то,

что говорила подруга. Я отошла от нее и стала смотреть на гнезда по другую сторону дома. Интересно, как ведут себя там птенчики, слышу их жалобный писк, как же им кушать хочется, думаю я. Вдруг, вижу из гнезда что-то летит. Неужели это птенчик?.. Бегу туда...

– Ира, – зову подругу, – скорее сюда, птенчик выпал. Когда она прибежала, я уже держала мертвого малыша.

– Наверное, умер от голода, видишь, какой он худенький, – показываю его Ирине.

– Как же будет переживать и плакать родители птенчика, не найдя его в гнезде.

И вдруг, сама почувствовала ту боль, которую должны пережить ласточки, и, не выдержав, заплакала.

– Не плачь, мне тоже его жалко. Давай птенчика похороним, а то его может съесть чей-то кот.

– Хорошо – согласилась я – только не здесь, а возле нас, тогда мы сможем его часто навещать.

Ирина со мной согласилась, но когда мы подошли к нашему двору, подруга почему-то заупрямилась и какое место я ей ни предложу, ей все не нравится. Такое хождение без толка туда-сюда мне надоело.

– На, возьми этого птенчика и хорони, где хочешь, – сказала я сердито.

Видимо, Ирина так и хотела, выхватив его из рук, повела меня снова к тому забору, куда я ей сразу же предложила.

– Вот здесь мы его похороним, и никакой кот сюда не заберется.

Вдвоем мы быстро вырыли ямку, вниз положили пару сухих веточек и опустили туда нашего птенчика. Засыпали его землей, затем сделали небольшой холмик и для приметы воткнули туда две палочки.

– Ира, давай завтра придем сюда. Ведь теперь мы будем ухаживать за его могилкой.

Подружка согласилась. Еще некоторое время мы постояли у холмика, прощаясь с ним, затем, понунив голову, с тоской и печалью поплелись домой. Меня снова охватило неприятное чувство, то ли вины, за то, что мы не смогли спасти птенчика, а может переживала за ласточек – его родителей, представив какую боль они будут переносить, потеряв своего ребенка. От этих переживаний я, не выдержав, заплакала.

– Не плачь. Мы же не можем его оживить, поэтому нужно смириться.

– Скажи, – спрашиваю ее сквозь слезы, – ласточки тоже плачут и у них бегут слезы, как у людей? Ты когда-нибудь видела плачущих ласточек?

– Нет, не видела, они свое горе людям не показывают. Наверное, улетают подальше от нас и уж там дают волю слезам.

За разговорами мы не заметили, как подошли к своему району. Тут уж каждый куст был мне знаком. Наверное, от всего такого знакомого и любимого на меня снизошло успокоение, ушли куда-то грусть и печаль. На смену им пришли новые светлые чувства. Даже оттого, что я сейчас не одна, а с Ириной. И она уже мне кажется не такой злючкой, да и рассуждения у нее такие взрослые, разумные и не воображает, что знает побольше моего. Сейчас оставаться одной мне никак не хотелось, поэтому уже я предложила ей гулять вдвоем. Она согласилась.

Мы подошли к большому кирпичному дому, из-за угла которого был виден наш барак. Отсюда, если

мама будет меня звать, ее голос я хорошо услышу. Здесь во дворе была небольшая площадка, наполненная песком. Еще не успев туда подойти, видим, как над ней пролетают два голубя.

– Интересно, куда они летят? – спрашиваю подругу.

– Наверное, в тот двор, где песочница. Давай пойдём туда, понаблюдаем за ними.

Пока мы прибежали, голуби уже были там и ходили друг за другом. Чтобы их не спугнуть, остановились от них на некотором расстоянии. Голуби не обращали на нас никакого внимания, занятые, как нам показалось, только собой. У них, наверное, что-то случилось, пришли мы к такому выводу. Это было видно по поведению большего голубя, который все время кружился возле меньшего, даже чуть не запрыгивал на него и очень сердито ворковал. Хотя второй голубь ему ничего не отвечал, только, как нам казалось, с виноватым видом, низко опустив головку, кружил возле него.

Видя, что голуби не обращают на нас никакого внимания, я осмелела, подошла ближе и улеглась на песок. С этого места мне было лучше видно. Это были красивые, светло-серого цвета голуби. Их окраска постоянно менялась, смотря, на какую сторону в этот момент падали солнечные лучи. Я сразу же в них влюбилась! Особенно в меньшего. Его головку украшала белая шапочка с темными точками. И я решила, что это голубка-мама. Папа-голубь был покрупнее, а может, таким казался, потому что все время раздувался, кружа возле голубки-мамы. Когда он раздувался, на его спинке был виден маленький крестик. Это были самые красивые голуби! Они были необычными и такими загадочными в то время для меня. Я никак не могла понять, за что папа голубь так сердится на маму-голубку, ведь она такая спокойная, тихая, молча ходит за ним кружась. А ему все нипочем, топает лапками на нее и все тут...

Спрашиваю у подруги: – Ира, как ты думаешь, почему папа-голубь сердится на маму-голубку, ведь она такая ласковая, добрая?

– Я думаю из-за деток. У нас здесь голубей мало, в отличие от ласточек, у которых везде гнезд полно. А вот гнезд голубиных я никогда не видела. Поэтому не знаю, где они растят своих деток, в каком месте оставляют. Скорее всего, мама-голубка положила где-то своих голубечиков и полетела за едой для них. А когда вернулась не нашла, видимо, их кто-то забрал, и папа-голубь винит во всем маму-голубку. И потому ей так сердито выговаривает. Я думаю, что они сейчас ищут своих голубечиков, но найти не могут.

– Ой! Горе-то какое! – вскрикнула я и вмиг выскочила из песочницы. – Давай поможем голубям искать их деток, – предложила я подруге.

Видимо, мое быстрое, резкое движение спугнуло наших пернатых друзей. Папа-голубь тут же вспорхнул и полетел. Вслед за ним подалась и мама-голубка.

– Смотри, куда они полетели, – прошу Ирину.

– Вижу, летят по направлению к большому сараю, – ответила она.

Но пока мы туда добежали, голубей и след прощыл.

– Где же мы теперь будем их искать? – спрашиваю я.

– Мне кажется, они влетели в сарай. Видишь, ка-

кой большой проем над дверью. Потому мы их и не заметили. Наверное, ищут там своих голубчиков.

– Ира, ты ведь достаешь до ручки, подергай ее, может? дверь и откроется.

Подруга старается изо всех сил, но ничего не получается. Мы поняли, что попасть в сарай нет никакой надежды, но уходить отсюда нам никак не хотелось. Продолжаем крутиться около двери, все время поглядываем вверх, надеясь увидеть вылетающих оттуда голубей. Как же нам хотелось узнать, что там делается внутри! Приложив ухо к двери, пытаемся уловить хоть какой-то звук, малейший шорох, подтверждающий нашу догадку.

– Ира, я, кажется, придумала. Ты ведь длинная, а я маленькая и худенькая, тебе легко будет меня поднять и удержать на своих руках. Я тебе покажу, как нужно правильно сцепить ладошки. Твоя задача будет меня чуть подбросить вверх. Я в тот же миг подпрыгну, схвачусь за ту железку, что торчит из оконного проема и перегнусь к этому отверстию. Я же гибкая, у меня это получится, все увижу и тебе расскажу. Я вчера видела, как это проделывали ребята. Сашка длинный с маленьким Колькой. Ты же знаешь, что он заводила во всех играх. Так вот, он с белобрысым с другого двора, сложили замком ладошки, на них встал Колька. Затем, они его раскачивали из стороны в сторону, резко подбрасывали, тот делал кувырок и прыжок через голову. Я бы тоже так смогла, но Сашка не захотел меня принять в свою команду, обозвал меня малявкой, сказал, чтобы я не гладела и не мешала им тренироваться. Так как им нужно накачивать мышцы, делать разные упражнения, чтобы быть сильными, крепкими, выносливыми, потому что они собираются идти на войну.

– И ты опять ему поверила? Да кто же их возьмет на войну?! Сашка хоть и длинный, но все же подросток, а туда нужны взрослые мужчины. Да и война скоро кончится, так сказала твоя мама. Неля, мой тебе совет, не бегай за этими шалопаями. Не слушай их. Сашка большой врун. Разве ты забыла, как он тебя обманул? Послал тебя искать в окопах подбитый танк с трофеями, а потом над тобой же и смеялся. Спрашивал: «Много ли набрали трофеев?»...

– Ира, я знаю, что он врун, но тогда он так убедительно рассказывал, даже противогаз показывал. Якобы такой трофей нашли в подбитом танке. И добавил, что там еще много осталось. Когда я об этом рассказала нашим мальчишкам из барака, которые постарше меня, даже они поверили и загорелись этой идеей. И они сами меня позвали, сказав: «Айда за трофеями». После чего мы с твоей сестрой пошли за ними. Даже сейчас страшно вспомнить, как мы тогда намучались, сколько окопов тогда облазили, но так и ничего не нашли. Вылезли оттуда еле живые, все грязные, в глине, с побитыми ногами.

Но больше всего было обидно, что все сделали виноватой меня. Не я же заставляла их лазить по окопам... Как же тогда за это мне влетело от мамы...

– Полине досталось не меньше твоего. Она такая же, как ты, и верит во все, что ты ей ни скажешь. Я вас тогда предупреждала, но ты мне не верила. Ты ведь такая упрямая, если что надумаешь, тебя не отговорить.

– Зато у старших ребят можно кое-чему поучиться. Вот смотри... Крепко сцепи замком ладошки, я встану на них, сразу же схвачусь за ручку двери, и в

тот же миг ты меня подкинешь. Я подпрыгну, схвачусь за ту железку... Все поняла?

– Давай попробуем. Только я не уверена, что из этой затеи что-то получится.

– А теперь, – говорю я, – подойди как можно ближе к двери, держи руки вот так, правильно... Молодчина... Вот я уже и встала. Вот я держусь за ручку... Все хорошо, не бойся, у нас все получится. Сейчас ты должна меня подбросить вверх.

Вижу, как Ирина старается, и понимаю, что я для нее слишком тяжела. Хоть она и пыгается изо всех сил, делает не одну попытку, но уже явно видно, что для этой затеи у нее не хватает силенок... И тут Иру резко качнуло в сторону, она зашаталась, у нее подкосились ноги, она упала и выпустила меня. Я лечу и с силой ударяюсь лбом о ручку двери. Уже сидя на земле, потираю ушибленный лоб, выговариваю сквозь слезы.

– Какая же ты, Ирина, неуклюжая, не могла меня удержать – такую маленькую и худенькую!

Подруга быстро встает и помогает мне подняться.

– Нелечка, извини, я очень хотела выполнить все то, что ты говорила, но у меня не хватило сил удерживать тебя. – Может, из-за того, что я с утра почти ничего не ела.

– Кто виноват, ешь.

– Хотела бы, да нечего, и так благодаря твоей маме и вашим козам выживаем. Ой! Лоб-то какой красный! – Трогает его рукой. – Будет шишка – за ключает она. – Сейчас тебя полечу. Найду листочек и приложу ко лбу, он снимет красноту, и болеть меньше будет.

Только Ирина собиралась это сделать, как слышу, что звонкий мамин голос зовет меня.

– Никуда не ходи, – говорю я подруге, – лучше придумай, как мне оправдаться перед мамой за шишку. Что же мне сейчас будет! Ведь говорила же, придет к вечеру, а сама уже дома.

– Это мы так заигрались, что не заметили, как прошел день, – отвечает Ира.

Все ближе и ближе раздается мамин голос, а мне страшно идти ей навстречу. Стою и жду, когда она меня сама увидит.

– А, вот ты где, чего стоишь не откликаешься? Я уже не раз тебя звала, где ты бродишь, голодная целый день? – отчитывает меня мама.

– Я заигралась с Ириной и уже собиралась домой, когда услышала, что ты меня зовешь.

– За день ты не нашла времени выпить чашку молока! Чем ты живешь, какая сила тебя держит? – продолжает она.

Мама, взглянув на меня, сразу догадалась, что со мной что-то не так.

– Неля! А ну подойди ко мне, убери руку со лба, – сердито приказала она.

Я с виноватым видом низко нагнула голову и опустила руку.

– О боже! Что у тебя на лбу? Куда на этот раз тебя занесло? Где опять лазила, что мне с тобою делать. Каждый раз одно и то же, если не голова, так ноги. Нелзя тебя одну оставлять даже на час. Будешь все время сидеть дома под замком!

– Прости, я больше не буду...

– Я давно сыта твоими обещаниями, какой толк от них, если делаешь то же самое! Когда же ты, нако-

нец, поумнеешь?

– Скоро, мамочка, правда, с этого дня я буду тебя слушать и помогать тебе во всем, ведь я старшая, можешь на меня положиться.

– Ну и лиса! – уже более миролюбиво говорит она, – посмотрю, как ты будешь выполнять свое обещание.

Я же быстро сообразила, что прощена и стала ласкаться к ней.

– Ладно уж, хватит лизаться, поверю еще на этот раз, а сейчас идите с Ириной к нам кушать. Пока ты тут летала я такую вкусную еду приготовила, такой вы еще не ели: голубечики называются.

– Что?! – в один голос удивленно переглядываясь, вскрикнули мы.

Мама же наше изумление истолковала по-своему. Весь день дети бегали голодными и были удивлены незнакомой для них едой. Поэтому, улыбаясь, она повторила: «Голубечики, очень вкусные, таких вы еще не ели».

– Мама, где ты их нашла, в том сарае? – Показываю рукой в его сторону.

Теперь пришла очередь удивляться маме.

– Что?! Не понимаю тебя, при чем тут сарай?

– Ну, понимаешь, сарай был закрыт, – выкручиваясь я, как бы получше объяснить ей всю ситуацию, но чтоб она не догадалась, что я туда лазила и заработала шишку, поэтому продолжаю излагать эту версию, как могу, – и мы не смогли туда войти и спасти их.

– Кого?! – уже строго спрашивает мама.

– Голубечиков, ведь они еще маленькие и не умеют летать, а их ищут родители. Они ведь не знают, кто их забрал.

– Фух! Час от часу не легче, ничего не понимаю, но лучше будет, если ты прекратишь эти сказки. Видимо, у вас от голода заиграла фантазия, лучше идите с Ириной кушать.

– Нет, нет, – испуганно машет рукой подруга, – я сыта, не хочу.

– Ну, как знаешь, тогда передам маме. А ты быстро марш домой, – прикрикнула на меня мама и поспешила к нашему бараку.

Я было поплелась за ней, но тут же вернулась к Ирине.

– Не думай, я кушать голубечиков не буду, жди меня.

По дороге домой с головы не выходила мысль об этой страшной еде. Как же мама могла так поступить? Но больше всего меня волновало, что она приготовила из голубечиков еду. Ведь они такие маленькие, беспомощные, хотя и больше птенчиков, но все же детки. Неужели ей их не жалко, не могу без слез об этом думать. Иду и прощаюсь с друзьями, ставшими сейчас для меня такими дорогими.

– Голубечики вы мои миленькие, я вас не буду кушать. Любимые мои, простите мою маму.

Когда я вошла в комнату, сестра уже справилась со своей задачей и только с аппетитом запихивала за обе щеки капусту. Мама и мне положила на тарелку что-то непонятное, большое, завернутое в капустный лист.

– Что же там внутри? Неужели голубечики, – подумала я.

– Садись и кушай, они еще горячие, чувствуешь, какой от них вкусный запах. Валечка уже справилась

со своей едой.

– Еще бы, – подумала я, – ей что ни дай, все будет лопать, она же еще не понимает, что ест...

Торопливо разворачиваю капусту, осторожно ковыряю вилкой, его содержимое, но ничего там не нахожу, хотя бы чуть напоминающее голубечиков, только какая-то крупа, да небольшие темные кусочки плавают в какой-то жиже. Поспешно ищу в другом, но и там то же самое.

– Что ты там ищешь? Ешь, пока теплые!

– А где же тут голубечики?

– А на тарелке что?

– Не знаю я такой еды не ела, но голубечиков здесь нет, – объясняю я. – Может, когда ты их нашла и хотела забрать, они вспорхнули и улетели, и ты их уже не смогла поймать.

– Может, и так. Я же за ними не бегаю так, как ты, лучше ешь, чтобы была сила гоняться за ними.

– Где же теперь голубечиков искать?

– Они мне не сказали, полетели и все дела. Радуйся, что они живы и летают. Ну ладно. Довольно заниматься болтовней, ешь быстрее. Если так плохо будешь кушать, то совсем не будет сил гоняться за птичками, – закончила мама, подсовывая поближе ко мне тарелку.

– Фу, какой неприятный запах. Нет, не могу, не проси!

И тут же почувствовала сильную тошноту, появился звон в ушах, какая-то слабость во всем теле. Пытаюсь выскочить из-за стола.

– Ой, как мне плохо, – только успела сказать и стала оседать, и если бы мама вовремя не подхватила, упала бы.

– Боже мой, доченька, что с тобой? – донесся до меня будто издали испуганный голос мамы.

И больше ничего не помню, потеряла сознание. Когда я пришла в себя, вижу, что лежу в постели и мама натирает мне виски какой-то сильно пахнущей жидкостью.

– Слава богу, очнулась, – обрадовалась она.

– Не понимаю почему я лежу, – пытаюсь подняться, но какая-то слабость не дает.

– Лежи, лежи, не поднимайся, – заботливо говорит мама, – тебе стало плохо, и я перенесла тебя на кровать. Вот, что значит бегать весь день голодной, так недолго заболеть и умереть!

Не знаю, сколько времени я так лежала, но меня снова стал преследовать этот неприятный запах.

– Мама, в комнате очень душно, мне нечем дышать. Выведи меня на воздух, а то мне снова станет плохо.

– Сейчас, сейчас, Нелечка, – поспешно говорит она и быстро поднимает меня и выводит на улицу. Усадила на крыльце, укутав большой шалью. – Видишь, доченька, до чего довело твое непослушание. Я сейчас принесу тебе теплого молочка, и бабушка передала очень вкусный хлебушек, она сама его испекла.

На воздухе мне стало лучше, снова вернулись силы и я подумала: «Нет, мама не права, мне стало плохо от ее «вкусной» еды. «Брр, какой все же у нее неприятный запах. Как хорошо, что я ее не ела. Нужно обо всем рассказать Ирине».

И только мелькнула мысль о ней, как вижу, бежит она ко мне на всех парах.

– Ну что, ела голубчиков? – интересуется она.

– Нет, их там не было, мама думала, что они маленькие и не умеют летать и только намеривалась их взять, как они вспорхнули и улетели. Поймать их она уже не смогла. И куда улетели, она не знает. – Где же теперь мы будем голубчиков искать?

– Зачем, ведь самое главное, что они живы и умеют летать. Сейчас их уже никто не поймает. А наши друзья-голуби заведут себе снова маленьких голубчиков, но теперь они уже научены и будут их прятать как можно дальше и выше, пока они не научатся летать. Ира, а ты бы хотела летать?

– Не знаю, я об этом никогда не думала.

– Разве можно об этом не думать, – загорелась я, как будто в меня тут же вселился дух полета. – Что может быть в жизни прекрасней этого ощущения, ведь большей радости, чем уметь летать нет. Как об этом

можно не думать, не понимаю. Я не только об этом все время думаю, но и учусь этому чуду и верю, что я когда-то смогу полететь!

Ирина не поделила со мной эту радость, ей был непонятен мой восторг. Зато в другом мы были едины, ведь наши голубчики живы и уже летают, разве это не радость?!

Как быстро пролетело мое детство!..

Теперь я знаю, что голубцы не имеют ничего общего с «голубчиками». Просто тогда мама хотела как можно нежнее назвать новую для меня еду.

А вот моя память надолго сохранила этот эпизод, и я долго еще не могла насладиться прекрасным блюдом, которому сейчас отдаю свое предпочтение и с любовью называю его: «Голубцы вы мои, голубчики!».

Март 2018



Татьяна ЛОТОЦКАЯ

ЛЮБОВЬЮ МАТЕРИ СОГРЕТО ВСЕ ВОКРУГ

Моей маме – Нинель Добрянской

Любовью матери согрето все вокруг.

Ее морщинки излучают свет...

Ну а глаза, я просто в них тону

И чувствую в них радости отсвет,

Когда мне весело. А если вдруг

Беда, ты тоже сможешь разделить

Ее, подставив хрупкое, но сильное

Плечо. И где найти слова такие мне,

Чтоб передать все то, что я хочу...

Возьму я руки нежные твои в свои

И просто улыбнусь и помолчим...

Минуты счастья разделив сполна,

Опять за окнами волшебница Весна!

Она пришла, тебя мне подарив,

Из сердца льется радости мотив,

Во внуках, правнуках продлится

И чудо жизни вечно будет длиться,

Покуда льется Божий свет

и воспевают материнство,

Священной этой тайны в мире нет!

* * *

Поющий куст весну встречает,
Как будто к нам явился Бог!
Не Купиною величальной
Кустом, который весь продрог.
И ветви тонкие, как руки,
На них живые голоса.
Они поют, что нет разлуки,
Так, что синеют небеса!

* * *

А это такая радость,
Что льются Твои слова!
А это такая благодать,
Что хочется петь с утра!
Услышать в себе Твой голос,
Понять и его пропеть
И знать, что достойна тоже
На крыльях в высь улететь!
И каждый мой день, как чудо,
Конечно, неповторим!
Но только Тебя бы слушать
И быть подмастерьем твоим!

* * *

Я слышу голос Твой во мне
И благодарна тишине,
Когда в тиши моих молитв
Мой голос совести звучит,
Сливаясь с голосом Твоим,
И мир прекрасен неделим.
И нас уже не разделить,
И это означает жить!



ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Маргарита СМЕРНОВА, заведующая музеем народного творчества – филиала ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области».

ВСПОМНИМ ОБ УНИКАЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ



*18 мая 2018 года исполняется год,
как нет с нами Ирины Павловой.
Ей было 60 лет.*

Уникальная личность, умница и красавица, она чаще представлялась: Ира Павлова, иногда Ирина Павлова – директор Музея народного творчества, совсем редко – Ирина Васильевна Павлова. Мы много лет работали вместе. Писать о ней мне не просто. Ибо я никогда не посмела бы и думать: первое, что она так рано уйдет, второе, что именно мне придется переосмысливать ее жизнь, чтобы своим рассказом напомнить о ней в годовщину памяти всем тем многим людям, что знали и знают ее. И есть еще важное, на мой взгляд, третье. Это какая-то мистика числа 18, даты ее ухода. 18 мая – День Музеев. 18 мая – день святой великомученицы Ирины. И хоть она не почитала именины, но ушла из этой жизни в день своей покровительницы. А еще 18 мая мой день рождения. Вот так как-то тут у нас все завязано, и потому, видимо, у меня такая миссия написать то, что я знаю об этом уникальном человеке. В этих воспоминаниях есть строки в кавычках, значит, это Иринины строки.

Ирина Васильевна Павлова родилась 4 марта 1957 года в с. Алакуртти (г. Кандалакша) на юго-западе Мурманской области в семье военного. У нее был старший брат. По роду деятельности отца, а он был военным строителем, семье пришлось путешествовать по стране. Последним городом, в котором семья осталась жить, оказался Ульяновск. Тут Ирина пошла в первый класс школы №4. Она росла активным и наблюдательным ребенком, ей нравилось рисовать, перебирать пуговицы, любоваться камушками и наряжать кукол. Ее мама была рукодельницей. Это пришло было многим советским женщинам. Сами шили, вязали, готовили и наводили дома красоту. О своей маме Валентине, Ирина всегда вспоминала с большим теплом и говорила, что мама могла обжечь любой угол и везде создать тепло и уют. Сколько подъемных ей пришлось пережить. Рассказывала, что у мамы всегда было чисто и наготовлено, пахло пирогами и была мама общительной и гостеприимной. Отца дети видели реже, и потому о нем воспоминания редкие, но яркие. Был он человеком очень честным, ни гвоздя, ни доски, ничего никогда не принес домой, хотя все этого было предостаточно на стройке. Играл на баяне «Красный партизан». Ирина часто вспоминала, как «батя пел»: «Я моряк, с акулами знаком, я с пленок вырос моряком, у меня дорога широка, вот какой характер у меня». И когда она напевала эти строки, то невольно думалось, что у Ирины тоже есть характер. Так получилось, что желание жить в красоте и одеваться со вкусом передалось от мамы. А характер, порой мужской и своенравный, – от папы. Конечно, в жизни встречались знаковые люди, которые оказали влияние на формирование ее личности. Например, учительница по русскому языку, кажется, Наумова Ирина Федоровна. Ей Ирина благодарна за то, что не просто научила писать грамотно, но и за трепетное отношение к слову и речи. Это помогло ей впоследствии писать содержательные статьи и интересные проекты. В школе Ирина была заводилой и заводить могла иногда на школьные дела. После школы она собиралась поступать в педагогический институт, но судьба распорядилась иначе, она немножко поработала, а потом поступила сразу на второй курс художественно-графического отделения педагогического училища №1 г. Ульяновска. Училась вместе с Верой Петровной Фоминой (сегодня она возглавляет музей в с. Акшут Барышского района, Ульяновской области), с Анатолием Николаевичем Зудиловым (педагогом детской школы искусств №6 г. Ульяновск) и другими. Любимыми преподавателями были художники Анатолий Иванович Каторгин, Василий Иванович Соболев, с ними она поддерживала отношения всю жизнь. Особенное отношение было к преподавателю по искусствоведению Наталье Сергеевне Храмцовой. Ирина говорила о ней с восхищением, отмечая высокий профессионализм, интеллект и наличие сильного характера. Наталья Сергеевна для Ирины стала своеобразной планкой, до которой надо тянуться. И потому эта личность стала движущей силой, некоторым ориентиром и, возможно, повлияла на дальнейший выбор профессии.

Работа с творческими людьми – художниками началась для Ирины в областном Доме художественной самодеятельности. По роду деятельности она организовывала выезды на этюды, творческие

лаборатории и выставки. Заочно училась и успешно закончила ВПШК (высшая профсоюзная школа культуры) в Ленинграде. Сессии для нее были и трудом, и праздником. Учиться, узнавать новое, смотреть хорошие фильмы, спектакли, концерты, выставки – все это было необходимо Ире, чтобы быть не просто в курсе событий, а быть впереди. Татьяна Ивановна Драгунова коллега и подруга Ирины, вспоминает, как еще в 1985 году, когда они вместе ехали в командировку в Николаевку, Ирина озвучила заветную мечту: создать свой музей. Жизнь в стране менялась, организации переименовывались и вот в 1991 году Ирина решает на предложение стать организатором нового музея в городе – Музея народного творчества при областном Доме народного творчества ульяновского управления культуры. Первые годы были самыми сложными, да еще это были 90 годы. Многие помнят, что надо было как-то выживать. Наши земляки хотели не только быть сытыми и обутыми, но еще стремились создавать уют с помощью декоративных утилитарных предметов и картин. И вот в историческом здании – двухэтажном особняке госпожи Прибыловской, расположенном на территории могущественного Мемцентра на первом этаже начинает работать выставка-продажа изделий ульяновских мастеров и художников. Сувениры, картины и художественные утилитарные изделия привлекли внимание не только ценителей народного творчества, но и тех, кто хотел сделать оригинальный подарок другу или украсить свой быт... Место становилось популярным. Надо отметить, что в воспоминаниях Ирины, часто звучали слова благодарности в адрес Валерия Александровича Перфилова, на тот момент он возглавлял Историко-культурный центр В.И. Ленина. Валерий Александрович увидел в Ирине незаурядную личность и был в то время одним из немногих, кто понимал и поддерживал ее. Их добрые отношения сохранились на многие годы.

Открывались новые имена талантливых земляков, постепенно начали пополняться фонды. И вот, уже под Музей народного творчества выделяется второй этаж, на котором располагались с 1970 года неприкосновенные подарки В.И. Ленину.

Жизнь закипела. Теперь уже два этажа полнокровно работали, и экскурсоводы знакомили ульяновцев и гостей города с творчеством талантливых и самобытных самодеятельных художников и мастеров Ульяновской области. Для популяризации народного творчества Ирина привлекала телевидение. На местном канале вышла серия репортажей из Музея народного творчества.

Формирование фондов и осознание миссии музея шло параллельно. Ирина ездила на различные семинары, конференции, знакомилась со специалистами из разных городов, сама делилась уже своим опытом работы. Ее замечали и ценили. Потому, когда она занялась изучением творчества Козырина, открытием этого нового имени в наивном искусстве, ее поддержали московские искусствоведы и коллеги из Российского Дома народного творчества (г. Москва). Были выделены немалые по тому времени средства на закупку картин наивного художника из г. Дмитровграда Николая Ивановича Козырина в фонды ульяновского Музея народного творчества.

В 1999 г. с благословения известного во всем

мире деятеля искусства Ирины Александровны Антоновой во вверенном ей Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина открылась выставка картин ульяновского художника – «наива» Николая Козырина (1908 – 1995) из г. Димитровграда. «Эта выставка стала событием не только для Ульяновской области, но и для всего движения художников-непрофессионалов, для специалистов, посвятивших этой тематике многие годы. В год столетия со дня рождения Николая Козырина персональная выставка его работ была открыта в Московском музее наивного искусства».

С этим музеем Ирина сотрудничала многие годы. Ездил туда на конференции и директор музея наивного искусства Владимир Ильич Грозин с известным московским искусствоведом Ольгой Дьяконицыной неоднократно приезжали в Ульяновск на открытия выставок, юбилей музея народного творчества. Ирина – уникальная личность, она умела дружить и объединять вокруг себя разных людей и практически всегда была центром внимания.

Как опытный специалист, музейщик, куратор выставочных проектов и неординарная личность Ирина Васильевна Павлова сформировала основу фондовой коллекции. Она создавала свой музей с большой любовью. На протяжении многих лет Ирина Васильевна бережно отбирала в коллекцию предметы, которые являются уникальными, и теперь мы знакомим посетителей «с традиционным народным искусством, представленным у нас образцами крестьянского искусства и художественных промыслов Симбирской губернии – Ульяновской области. Часть коллекции – это современное декоративно-прикладное искусство ульяновских мастеров, многие из которых отличаются самобытностью и близостью к народным истокам».

«Гордость музея – коллекция уникальных произведений, написанных художниками наивного направления. Их работы нашли признание на всесоюзных, российских, международных выставках, вошли в коллекции Суздальского музея самодельного художественного творчества России, Государственного Российского Дома народного творчества, Музея наивного искусства г. Москва. Многие художники стали участниками таких знаковых в развитии искусства выставок, как «Шедевры наивного искусства» (2002), «Наивное искусство России» (г. Москва) (2004), «Инсита-94» (Словакия), Международный фестиваль наивного искусства и творчества аутсайдеров «Фест-наив-2004, 2007, 2010».

Особенно хочется выделить уникальную коллекцию гончарного промысла из с. Сухой Карсун Ульяновской области (эта коллекция наиболее полно представлена именно в нашем музее).

«Нельзя не сказать о наследии народных мастеров-игрушечников России и Узбекистана из частных

собраний Владимира Калмыкова (Саранск), Виктора Шевченко (Ульяновск). Среди авторов коллекции такие знаменитые имена, как Ульяна Бабкина (Каргополь), Аграфена Трифонова (д. Хлуднево), Зотей Кокурин (с. Федосеево Нижегородской обл.). Эта коллекция была вручена музею полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Сергеем Кириенко за успешное участие Музея в фестивале «Ульяновск – культурная столица Поволжья» на открытии художественного проекта «Художники чистого сердца».

Очень важно, что эта коллекция сохранена и активно пропагандируется в различных проектах и выставках, является ценнейшим материалом для краеведения Ульяновской области».

Помню, как Анна Марковна Гор и Галина Муромцева, являясь авторами проекта и руководителями фестиваля «Культурная столица Поволжья», появились в нашем музее и как за чаем состоялся разговор о проектной деятельности. Ирина сразу вызвала интерес у наших гостей, им легко было с ней общаться, и было ясно, что эта встреча знаковая. Она вдохновилась, для Ирины открывались новые горизонты. Она непременно хотела стать участницей «Культурной столицы», вывести музей и авторов

на новый уровень. Ира всегда стремилась к новому, она научилась писать проекты. В них воплощались нереализованные ранее идеи и мечты. Она работала усердно и стала первой в регионе проектанткой! Ряд написанных ею проектов получил грантовую поддержку: «Недетские игры», «Старый и малый», «Привет из коммуналки». Они были художественными, социально-значимыми и порой поднимали вопросы, о которых либо молчали, либо даже не догадывались. Ирина Павлова вместе со своими успешными проектами проехала по Поволжским городам, показав их в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Ижевске, Димитровграде. Это был успех и для региона, и для музея, и для нее. У Ирины сложилась замечательная семья. Муж Борис Александрович – коллекционер, интеллектуал и очень добрый человек – был для нее поддержкой и опорой. Достойный сын Александр, она говорила о нем с трепетом и любовью. Теперь сын, Александр Борисович Павлов, известен как автор ряда интересных проектов. И самая большая радость – это лучезарный внук, продолжение рода. Все это наполняло жизнь Ирины. Многие помнят, как на двадцатипятилетнем юбилее Музея народного творчества Ирина образно сказала про просиженное кресло. Да, она «не просиживала кресла», а работала, после нее осталось дело – Музей народного творчества – и любовь всех тех, кого она в это дело вовлекла: коллег, мастеров и художников, журналистов, краеведов, музейщиков, друзей музея, партнеров и многих, многих людей, кто смог понять ее и принять душой.



Николай Козырин. Портрет кота

18 мая 2018 года в выставочном зале Ленинского мемориала состоялось открытие выставки художников Николая Козырина и Петра Картюкова из фондов музея народного творчества.

Выставка посвящена памяти Ирины Васильевны Павловой.



ЮБИЛЕЙНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

ИЮНЬ 2018



3 июня – 45-летний юбилей отмечает поэтесса, прозаик и литературовед Елена Ивановна Зейферт (р. 3.06.1973, г. Караганда Казахской ССР). Член Союза писателей Москвы и Союза переводчиков России. Автор книг «Расставание с хрупкостью» (1998), «Малый сборник» (2002), «Зеркальные чары» (2011), «Имена деревьев» (2013) и др. Провела 4 сентября 2010 года в Ульяновске заседание литературного клуба «Мир внутри слова», была ведущей салона «Молодой певец, дорогою прекрасною тебе идти...» в Ульяновском драматическом театре.

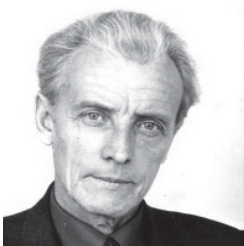


7 июня – 80 лет исполняется поэту и барду Александру Александровичу Дольскому (р. 7.06.1938, г. Свердловск, ныне Екатеринбург). Лауреат литературной премии им. Б. Окуджавы (2002). Автор 15 поэтических книг, в т.ч. «Пока живешь» (1988), «Свет небес» (1998), «Сонеты» (2002), романа в стихах «Анна» (2005). Заслуженный артист России. Выпустил около 30 дисков и компакт-дисков с записями песен. Живет в Санкт-Петербурге. Несколько раз выступал с концертами в Ульяновске, в т.ч. в декабре 1999-го и 2000-го, в феврале 2005 г.



8 июня – 35 лет со дня рождения прозаика Марии Валерьевны Завадской (р. 8.06.1983, г. Ульяновск). Окончила гимназию №33 и Ульяновский государственный университет по специальности «журналистика». Работает на российском телевидении и радио. Живет в Москве и

Ульяновской области. Первая публикация состоялась в городской газете для подростков «К доске» (1994). Вошла в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «малая проза» (2014). Участник Всероссийского форума молодых писателей в Липках (2014).



10 июня – 95 лет назад родился историк, краевед Николай Анатольевич Кузминский (10.06.1923, с. Поповцы Подольской губ., ныне Барского р-на Винницкой обл. Украины – 15.06.2009, г. Ульяновск). Работал учителем истории и директором в школах Ульяновской и

Куйбышевской областей (1948 – 1971), старшим преподавателем (1971 – 1981) и доцентом (с 1981) кафедры истории Ульяновского пединститута. Автор краеведческих изданий «Для тех, кто ищет» (1961, 1962), «Край наш родной» (1975), «Край богатырки Усолки» (1981) и др.



11 июня – 100 лет назад родилась журналистка и писательница Татьяна Сергеевна Есенина (11.06.1918, г. Орел – 5.05.1992, г. Ташкент, Узбекистан). Дочь поэта С.А. Есенина.

По дороге в Ташкент в ноябре 1941-го проезжала на поезде №22 через станции Инза, Базарный Сызган, Барыш и Кузоватово. Работала в Ташкенте корреспондентом газеты «Правда Востока», научным редактором в издательствах Узбекистана. Автор повестей «Женя – чудо XX века», «Лампа лунного света», мемуаров о С. Есенине, З. Райх и В. Мейерхольде.



12 июня – исполняется 80 лет писателю и публицисту Николаю Васильевичу Нарышкину (р. 12.06.1938, с. Кадышево Карсунского р-на Куйбышевской, ныне Ульяновской обл.). Окончил Сурский зоотехникум (1957) и Казанский университет, где работает с 1966 года, профессор. Автор более 30 книг: «Махотин извоз» (1998), «Мятущаяся Россия» (1999), «Священная Сура» (2000), «Кадышевский эпос» (2002), «Добрые сурские сказки» (2005) и др. Почетный гражданин Карсунского района и с. Кадышево. Член Союза писателей России.



13 июня – 70-летний юбилей отмечает журналист и публицист Ольга Владимировна Черемухина (13.06.1948, г. Оренбург). Окончила филологический факультет Саратовского университета (1972). Занималась в литературном объединении при союзе писателей, общалась с Г. Коноваловым, Н. Благовым, В. Сорокиным и др. Участник семинара молодых писателей в Ульяновске (1971). Публиковалась в сборнике «И с песней молодость вернется». Автор книг «Места заповедные» (1981), «За голубым тюльпаном» (1989). Живет в Оренбурге.



13 июня – исполняется 50 лет архивисту, краеведу Антону Юрьевичу Шабалкину (р. 13.06.1968, г. Ульяновск). Окончил Московский государственный историко-архивный институт (1992). Работает главным архивистом Государственного архива Ульяновской области. Автор многих публикаций в краеведческих сборниках, журналах «Мономах» и «Деловое обозрение». Соавтор книг «Симбирские гражданские губернаторы» (2003), «Нам досталась на долю нелегкая участь солдат» (2010), «Улица Гончарова» (2015) и др.



18 июня – 140 лет назад родился литературный критик, историк литературы, публицист Александр Сергеевич Глинка, псевдоним Волжский (18.06.1878, г. Симбирск, ныне Ульяновск – 7.08.1940, г. Москва). Учился в Симбирской гимназии (1889 – 1906), был домашним

учителем поэта В. Хлебникова (1897 – 1998) в с. Помаево Симбирской губ., ныне Сурского р-на. Автор книг «Ф.М. Достоевский. Жизнь и проповедь» (1906), «Из мира литературных исканий» (1906), «Гаршин как религиозный тип» (1906) и др. Отец поэта Г.А. Глинки.



20 июня – 100 лет со дня рождения журналиста и писателя Федора Ивановича Веди́на (20.06.1918, д. Чириково Карсунского у. Симбирской губ., ныне Базарносызганского р-на Ульяновской обл. – 23.05.1956, г. Рига, Латвия). Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Автор

романов «Золотая жила» (об ульяновцах, восставших Калининград), «Город – будет!», «Место в строю», повестей «Родная семья», «Анита», рассказов «Пантелеевская схватка», «Батька родной» и др. Член Союза писателей Латвии (1951).



21 июня – 105 лет назад родился журналист, прозаик Борис Сергеевич Бурлак (21.06.1913, г. Благовещенск – 27.12.1983, г. Оренбург). Работал корреспондентом в газетах Орска, Оренбурга, Ульяновска и Чапаевска (1932 – 1937). Член Союза писателей СССР (1953). Был ответственным секретарем Оренбургской писательской организации (1960 – 1974). Автор многих книг, в т.ч. «Шумы, Дунай!» (1951), «Слово о целине» (1958), «Седьмой переход» (1961), «Граненое время» (1965), «Возраст земли» (1975), «Жгучие зарницы» (1997) и др.



23 июня – 55-летний юбилей отмечает писатель, исследователь истории русской литературы XX века Алексей Николаевич Варламов (р. 23.06.1963, г. Москва). Член Союза русских писателей (1993). В серии ЖЗЛ выпустил книги о М. Пришвине, А. Толстом и др.

Приезжал в Ульяновск 20 апреля 2011 года в рамках проекта «Литературный глобус: 12 известных писателей на родине И.А. Гончарова». Провел пресс-конференцию, встретился с ульяновской общественностью, стал участником акции «Библионочь» в библиотеке №8.



25 июня – 60-летний юбилей отмечает прозаик и поэтесса Ольга Николаевна Даранова (25.06.1958, г. Ульяновск). Окончила Ульяновский педагогический институт (1980). Работает ученым секретарем Ульяновского областного Дворца книги. Публиковалась в журналах «Карамзинский сад», «Симбирск» (Ульяновск) и «Сура» (Пенза).

Автор проекта «Голоса из хора. Поэзия XX века». Заслуженный работник культуры Ульяновской области. Награждена медалями Н.М. Карамзина, «200-летие И.А. Гончарова», «За особый вклад в книжное дело». Автор сборника стихов и прозы «Флейта осени» (2018).

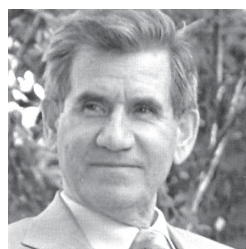


26 июня – 105 лет назад родился журналист, писатель Рустам Константинович Агисhev (26.06.1913, д. Старое Тимошкино Сенгилеевского у. Симбирской губ., ныне пос. Старотимошкино Барышского р-на Ульяновской обл. – 13.08.1976, г. Калинин, ныне г. Тверь). Жил в

Средней Азии и в Комсомольске-на-Амуре. Автор повестей «Дед Пермьяк» (1940) и «Оуэнга» (1947), романов «Зеленая книга» (1954) и «Луна в ущельях» (1967), книг очерков «В долине Буреи» (1950), «Неутомимый искатель» (1951) и др. Член Союза писателей СССР (1954).



27 июня – исполняется 75 лет прозаику Виктору Николаевичу Сергееву (р. 27.06.1943, с. Чуфарово Майнского р-на Ульяновской обл.). Окончил профтехучилище в г. Магнитогорске. Работал на заводах и стройках Ульяновска. Участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве (1979). Автор книг «Первый круг» (1985), «Родственники» (1986), «Рыжие берега» (1996), «Синее небо с белыми облаками» (2007), «Свидетельницы» (2008), «На полустанке Зеленом» (2016). Член Союза писателей России (1988).



30 июня – исполняется 80 лет со дня рождения писателя Анатолия Ивановича Калачева (р. 30.06.1938, с. Чердаклы Куйбышевской, ныне райцентр Ульяновской обл.). Окончил военное училище, Всесоюзный заочный политехнический институт (1966). Служил в военно-строительных частях. Работал и

живет в Москве. Автор книг «Мой Чернобыль» (2005), «Друзья сердечные» (2009), «Стезей прави!» (2010), «Богомолы» (2013) и др. Лауреат премий имени М. Шолохова, А. Грибоедова, Н. Некрасова. Член Союза писателей России (2005).

85 лет назад родилась поэтесса Валентина Николаевна Правдина (р. 1933, Самаркандская обл. Узбекской ССР). С раннего детства жила в селе Радищево Ульяновской обл. Окончила Сызранское медицинское училище, работала в Сызрани в железнодорожной поликлинике. Публиковалась в газетах «Красное Приволжье», «Красный Октябрь», «Волжская заря», в детском журнале «Светлячок», альманахе «Родниковые берега». Автор сборника стихов «Рыжее сословие» (1995, Москва). Две детские книги изданы в г. Чехов Московской обл.



80 лет назад родился журналист, прозаик, эссеист Геннадий Семенович Левин (1938, р.п. Сурское Куйбышевской, ныне Ульяновской обл. – 6.12.1984, там же). Окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт. Работал агрономом, 1-м секретарем Сурского райкома комсомола. Был редактором газет «Сурская правда» и «Ульяновский комсомолец», журналистом в газете «Ульяновская правда». Писал стихи, очерки о природе. Автор цикла рассказов «Печерские запески». Публиковался в литературном журнале «Волга» (г. Саратов).

*Рубрику ведет
Николай Марьянин,
поэт и краевед*

ПОЭЗИЯ ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ

Елена ЗЕЙФЕРТ (р. 1973)

СОНЕТ ВОСКРЕСЕНИЯ АПЕЛЬСИНОВ

Я тку стихи. Из теплых, тонких жил...
Теряю кровь, сознание, терпение,
Чтобы узнать, как текст стихотворения
Ложится житом – благостным из жит?

Что может текст?.. Вот на огонь дитя
В любви и страхе смотрит, как на мощи,
Но зерна яблока плюет, шутя,
Движеньем губ сдувая чудо-рощи.

Но, в строчках ухватив сей мезальянс
Души ребенка с силой исполина,
Что делать дальше жителям Земли?..

Да просто слиться в мировой романс!
Деревьями воскреснут апельсины
Из косточек, растоптанных в пыли.

* * *

Руки города в глине. Как же бездарен он!
Я его ранний, натужный, самый корявый горшок –
Хрупкий носитель сажи и разбитых окон,
Ветхих бумажных змеев, ландышей нагишом.

Горе-ваятелю стыдно? Он не прячет глаза!
Ждет дароносицу для убогих сосудов своих.
Этих сестер и братьев город мне навязал,
Взял их под мышки, под ноги бросил, затих.

Глиняных кукол болезненны черепа,
Мироточат кресты в их слабых руках.
Карагандинская иконопись скупа
И до небесного таяния легка.

Кто Он, горшечник или гончарный круг?
В легких величиною с город пробел.
Иконопись как изморозь поутру –
Дышишь и изменяешь рисунок небес.

* * *

Дантов город, что создан из моего ребра,
из моих молочных желез, из моих кишок,
дышит прямо в лицо, он болен, он зол с утра,
у него закончился угольный порошок,
он готов забрать мои чувства, знамения, сны
и взамен ничего, ничегошеньки не отдать,
он кричит – тебе не дожить до весны, до луны,
он молчит, головою качает то нет, то да.

Я внимаю, я каждого слова слюну ловлю,
тру пощечины мартовским настом
(весна пришла),
я люблю его очень, я очень его люблю,
мы любовники, если родственна пеплу зола,

мы родители, только дети покинули нас,
прижимаюсь губами к его ледяным губам,
как невкусен, как черен карагандинский наст,
как горька его корка, безрадостна и груба.

Мы с ним в чреве носили друг друга. Кто святей?
Он единственный знак, что мир бывает благой.
Уголино оправдан – не ел он своих детей,
своих внуков и даже своих и чужих врагов.

Александр ДОЛЬСКИЙ (р. 1938)

МУЗЫКА НАД МОЕЙ ГОЛОВОЙ

Я слышу гармонии звуки,
и веки краснеют от слез.
Как будто над городом руки
израненный вскинул Христос.

И как предводитель оркестра,
Отца симфонический хор
дарует бездушный маэстро
простым обывателям нор.

А люд, потребляя котлеты,
вином запивая тоску,
не слышит ни арфы, ни флейты,
и в чай насыпает песку.

Служители русской разрухи,
преемники лживых убийц,
на музыку тоже безухи
играют с историей блиц.

А время как будто до пата
за ходом продумало ход,
готовя жестокого мата
мухлевщикам чистый исход.

И публика смотрит на доску,
в подсказках теряя запал,
и свечи церковного воску
закапали красный портал.

А музыка мерным прибоем
в бесчувственный бьется народ
то скрипкой, то грустным гобоем,
то тембром космических нот.

Одни за другими солисты
выходят на сцену судьбы,
то гений поэзии чистой,
то джазовый гений трубы.

А руки великого Сына
точны в партитуре Отца,
но громкая песня кретина
возносится выше венца.

И глушит великих гармоний
тончайшей ажурности ткань,
и гром коммунальных агоний
врывается в свежую рань.

* * *

Мое лицо упало на пол,
я сам рассыпался на части,
потом куда-то долго капал!
Все говорили: – Вот несчастье,
такой красивый был мужчина –
не лысый, и не бородатый,
и в чем, помилуйте, причина,
что он укапал весь куда-то?

А я все капал, капал, капал
и испарялся понемножку,
потом росой ложился на пол
и изморосью на окошко...
И ты пришла, и пальцем теплым
так непосредственно и мило
вдруг вывела на мокрых стеклах
Слова «А я тебя любила!».

Валентина ПРАВДИНА (р. 1933)

МОДНИЦА

Лягушка себе выбирала пальто:
И то не такое, и это не то...
Все обошла на земле и в воде –
Нету болотного цвета нигде.
Рыбка спросила:
– Зачем оно вам?
– Стану похожей на истинных дам.
– Вам неудобно же будет в пальто...
– Пусть неудобно, но модно зато!

ЕЖИКОВА ШУБКА

Растеряли елочки
Колкие иголочки,
Ежик следом пробежал -
Все иголки подобрал.
Всю неделю мастерил,
Никуда не выходил:
Вышла шубка хороша
У портного у ежа...
Ежик шубку бережет,
Даже трогать не дает:
Если кто дотронется,
Сразу же уколется!

Ольга ДАРАНОВА (р. 1958)

В ВИННОВСКОЙ РОЩЕ

Пройдемся, друг, по парку, не спеша.
Какая осень! Золото забвенья...
Пусть отдохнет от бремени душа,
Ей сладостно в немом оцепененье.

Все суетно – и речи, и дела,
И дней бессмыслица все больше утомляет.
А здесь вот так бы просто – шла и шла
По тропке, что к обрыву убегает.

Шуршат дремотно листья под ногой,
Как будто няня сказывает сказку...
Художник-осень влажною канвой
Кладет на холст оранжевую краску.

А штрих последний – мы с тобой, друг мой.
Картина осени без нас будет не полна.
А в ногу с нами – годы чередой,
Как Волги набегающие волны.

* * *

Как пахнут ландыши? Весною,
Поездкой за город, дождем,
Тропинкой теплою лесною,
Где мы с тобой вдвоем идем.

Как пахнут ландыши? Тоскою
По зорям тихим над рекой,
По довоенному покою
И в вечность канувшей семьей.

Все было так же! Все – живое...
И зелень чистая, и май,
И на скамейке в парке – двое,
И заблудившийся трамвай.

И ландыши за перекрестком
В руках у женщины, и ты
Навстречу мне в шинели жесткой
Несешь неброские цветы.

Как пахнут ландыши? Надеждой
На счастье долгое с тобой,
Любовью трепетной и нежной
К тебе, единственный, родной.

*Подборку составил
Н. Марянин*

